



ББК 82.3(2=Рус)  
УДК 821

**Андрей Sh**

A65      **Доброе утро, страна...: Повесть и рассказы. —**  
Иркутск: ВостСибкнига, 2011. — 256 с.

Герой повести «Доброе утро, страна...» — в прошлом успешный журналист, рг-менеджер, попадает в границы субреальности и отчаянно ищет выходы из неё. Точки, отрезки... — «крестики-нолики». В какой стране он окажется?

Тему поиска нравственных ориентиров, осмысления философии вечности автор продолжает в рассказах.

Доброе  
утро,  
Андрей **Sh** страна...

Иркутск 2011



ВостСибкнига



Андрей Sh

*Светлой памяти  
Анатолия Мариенгофа  
посвящается...*

# ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА...

баллада  
о картонном  
офицере





*Он переделать мир хотел,  
Чтоб был счастливым каждый,  
А сам на ниточке висел:  
Ведь был солдат бумажный.*

Б. Окуджава. Песенка о бумажном солдате

**Восемнадцатого февраля две тысячи десятого года** в прокат выходит художественный фильм «Мы из будущего-2» — фантастическая реконструкция событий Великой Отечественной войны. В кинотеатрах зрителей приветствуют промо-герои картины — бутафорские офицеры и солдаты Советской Армии. Новая реальность отечественного экшна теснит Голливуд. Критика удивляет политкорректностью.

**Двадцатого февраля две тысячи десятого года** поругались с женой. Бурно. Терпеть не могу двадцать третье февраля: пограничники — другая каста. А подарки перестали радовать — обоих.

**Двадцать второго февраля две тысячи десятого года** веду восьмилетнего сына в кинотеатр. Он легко отличает «наших» от «фашистов», делает замечания сидящему рядом пацану-дошкольнику — тому скучно, меня раздражает гордость.

**Двадцать третьего февраля две тысячи десятого года** иркутский интернет-ресурс [aldana.ru](http://aldana.ru) («Чайхана»)

выкладывает баннер со скандальной фотографией промо-офицера Советской Армии, заляпанного пейнтбольной краской. Под ним одно слово — «Позор!» Через час информационный портал [baikal24.ru](http://baikal24.ru) сообщает: «Сегодня в Иркутске партия «Единая Россия» в сквере имени Кирова организовала народные гуляния, посвящённые Дню защитника Отечества... Но никто не ожидал, что один из аттракционов — это расстрел из пейнтбольных ружей картонной фигуры советского воина!»

**Двадцать четвёртого февраля две тысячи десятого года** Иркутское региональное отделение «Единой России» выступает с заявлением: «Стрельбу краской по изображению советских воинов иначе как кощунственной и циничной провокацией назвать нельзя... Возможно, произошедшее — результат простой безалаберности и безответственности, продукт чьей-то невежественности и безграмотности... Партия «Единая Россия» прилагает огромные усилия, направленные на защиту и сохранение памяти о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны». Придворные средства массовой информации сухо тиражируют заявление, Интернет смакует — с комментариями и фотофактом.

**Двадцать пятого февраля две тысячи десятого года** иркутская газета «Конкурент» пишет: «...анонимные источники в стане "медведей" сказали, что расстрела не было, а краска оказалась на изображении случайно, так как рядом проходили соревнования по стрельбе. Иркутские коммунисты назвали это "хорошей миной



при плохой игре" и направили обращение в региональную прокуратуру с требованием дать правовую оценку случившемуся». В то же время на сайте Авангарда Красной Молодёжи Трудовой России появляется комментарий очевидца: «Зрители спокойно отнеслись к такому "развлечению" и даже помогали своим детям прицелиться. Молодёжь с большим удовольствием расстреляла все мишени, в том числе изображение капитана Советской Армии с автоматом в руках... Действо происходило напротив зданий областной и городской администраций». На иркутских форумах кипит обсуждение: «Идиоты! В День защитника Отечества стрелять по своим! Единороссы, самораспуститесь или самоуничтожьтесь для пользы Родины!» (aldana.ru); «Народ совсем с ума посходил! Не буду умирать, пока не увижу, чем этот бардак закончится...» (irk.ru); «Только полный подонок мог изъявить желание выстрелить в образ своих предков-победителей. То есть, априори, стать фашистом...» (baikal24.ru)

**Двадцать восьмого февраля две тысячи десятого года** пиарщики власти получают задание локализовать конфликт в кратчайшие сроки и восстановить репутацию партии — до выборов мэра Иркутска остаётся четырнадцать дней, одиозный кандидат «медведей» и без того в аутсайдерах, протестные настроения избирателей растут. Нужны нестандартные решения.

**Первого марта две тысячи десятого года** я соглашусь... Тридцать сребреников — не цена, скорее — сдача.

**Десятого марта две тысячи десятого года** становится очевидно — поздно. Никакие pr- и административные ресурсы не спасут шкуру загнанного медведя. «Циники переиграли сами себя, а народ — быдло, маргиналы, люмпены, и даже офисный планктон — электорат, скрупулёзно учтённый в сторонниках партии власти, вдруг озверел и схватился за вилы. Пока условные, к счастью...» — пишет на одном из форумов некто Luissa (дама с подобным ником хорошо известна на сайтах знакомств как апологет свободного секса). Там же: «Похоже, идея показать Кремлю коллективную фигу и перевернуть отдельно взятую область вверх тормашками — захватила не только андеграунд...» Действительно, молодёжные форумы «правых» удивляют молчанием, а «левые», напротив, прирастают агрессивным стебом.

**Двенадцатого марта две тысячи десятого года** собирается экстренное совещание, параллельное штабу. Ночью, в самом высоком кабинете, на виду у спящего города. Неосмотрительно. Мне передали, кто станет крайним, и показали — почему невозможно купить победу: «Даже с учётом "своего" избиркома... При таком-то раскладе проще застрелиться». И спасти честь. Условную, как и вилы.

**Тринадцатого марта две тысячи десятого года** сноуа ругаюсь с женой (на тормозах), а вроде бы день молчания в стране. Каким-то образом попал в её субботние планы. Странно. Откуда планы у погорельца? Я даже вне самоара и плюшек посреди выщербленного круглого стола, накрытого накрахмаленной скатертью с рюшами... — в

доме, где скрипят полы, а экран телевизора протирается десять раз на дню, в комнате, где внуки морщат нос от запаха стерильной старости... Нет-нет. Я строю жизнь в социальных сетях и варганю бумажных журавликов из провалившегося плана N. Я проиграл.

**Четырнадцатого марта две тысячи десятого года** за два часа до открытия избирательных участков в «Чайхане» появляется «отповедь от Иуды». Новоявленные «Окна РОСТА» беспощадны и злы:

Ну что заскулили, бурые —  
обласканные в дрессуре?  
Что морды такие хмурые:  
страну не отжать на дуре?  
Иль стала казна дырявее,  
и не успевают руки?  
Так вроде и не бояре вы,  
и деньги не любят скуки.  
Иль грезится та нелепица  
о крахе вождя и партии...  
Другое всегда прилепится  
к анналам единой хартии.  
Увы, не по делу мечется:  
не выбрана кровью мера,  
пока вы страну калечите,  
расстреливая офицера...

**Пятнадцатого марта две тысячи десятого года** и без официального признания итогов ясно — на выборах мэра Иркутска с трёхкратным перевесом одерживает победу

кандидат от КПРФ. Восторженный блогер livejournal.com пишет: «Никакие нестандартные решения не вернули зарвавшимся "медведям" "лицо", а машину административного ресурса опрокинул озлобленный электорат. И в бой их вели не коммунисты, а всего-навсего оскорблённый картонный офицер...» На севере Иркутской области в Усть-Илимске также побеждает кандидат от оппозиции. Оранжевой...

**Двадцать восьмого марта две тысячи десятого года** случайно узнаю, что единороссы готовятся атаковать Братск. Любопытно. «Бывший мэр Братска, проигравший выборы в Иркутске, рвётся посадить на злачное место марионетку. Губернатор почему-то опять с ним согласен...» («Чайхана»). Обиженные иркутские «медведи» ропщут и предлагают свои варианты. Коммунисты, само собой, разворачивают агитбригады. Любопытно. Дисперсия от гранёного стакана даёт более скромные варианты...

**Второго апреля две тысячи десятого года** — смешно. «Мишки» объявили праймериз и раскололись окончательно — на пост мэра Братска претендуют уже восемь единороссов, готовые перегрызть друг другу глотки. Представляю, что пишут об этой клоунаде блогеры... На даче нет выделенки.

**Двадцать второго апреля две тысячи десятого года** — повод железный: отмечаю день рождения Владимира Ильича. Вывешиваю на заборе красную тряпку (когда-то любимая супружеская простыня) и горланю Интернационал. Из родного Братска доносятся праздничные

отголоски неуклюжей чехарды «медведей» — эти выдвинулись, те задвинулись. У коммунистов кандидат один — перепроверенный товарищ с сумасшедшими глазами. И слава богу... Злорадствую. Жена поздравила sms-кой. Издевается. Или проверяет. Живой. Пока.

**Десятого мая две тысячи десятого года...** — ни петь, ни рисовать. Вчера был любимый праздник. Со слезами на глазах, как и положено. А дети к Вечному огню пошли без меня. Стыдно.

**Четырнадцатого мая две тысячи десятого года** звонил давний друг семьи, назвал меня сволочью. Несправедливо. Сволочь — это когда кому-то мешаешь, а я никого не трогаю. И где та семья? Где та страна? У печки — куча старых газет для растопки, монолитная шапка на выцветшем фоне в контексте несуществующего государства. «Не дай бог!» — зубодробильный проект коммерсантовцев образца 1996 года. И зачем я собирал этот мусор?

**Двадцать третьего мая две тысячи десятого года** мэром города Братска становится выдвиженец от КПРФ. Двукратный отрыв от затоптавших друг друга «медведей». Федеральные средства массовой информации сухо констатируют факт: Иркутская область окончательно покраснела. Победу коммунистов называют победой протестного электората. Софисты. О губернаторе, очередной раз подставившем Старую площадь, как о покойнике. Не до хорошего. «Красная удавка на шее единороссов», — зубоскалят блогеры, развивая революционные мысли в опасном для Кремля направлении. Я тоже не стесняюсь в

выражениях, дорвавшись до мобильного Интернета. Интернет и алкоголь — очищают совесть.

**Первого июня две тысячи десятого года** просыпаюсь на полу бани в обнимку с поленом, больным, выпавшим из жизни и сожалеющим обо всём, что лезет в голову. Вчера — весна. Сегодня — прошла. Незамеченной. А всё что вне весны — ложь...

**Двенадцатого июня две тысячи десятого года** после двухмесячного запоя — сдаюсь, беру билет на самолёт, ставлю точку в социальных сетях и в личной жизни. Всё — «недоступен».

### **Game-эволюция: пролог**

В детстве не хватало игрушек. Быстро ломались, ещё быстрее терялись: на антресолях, в шкафах, на балконе, на улице. Без сожаления. До четырёх — плюшевые мишки, Петрушки, зайчики, пластмассовые кубики чудовищной расцветки. Потом — пистолеты, автоматы, сабли. К первому классу — лобзик: дерзай, твори. Ко второму — «выжигатель»: расти, совершенствуй. В третьем — заветная мечта любого мальчишки: металлическая, гладкая, трепетно-дорогая модель отечественного автомобиля... Шантаж. Это сейчас мы сочиняем анекдоты об убожестве АвтоВАЗа и можем килограммами скупать яркие машинки с привычной маркировкой «Made in China». Выбор колоссален: от раритетных «мерсов» до эксклюзивных спорткаров. А тогда «привезённая» с БАМа отцовская

«шестёрка» во дворе и материализовавшаяся под ёлочкой вожделенная «копейка» сияли сокровищем. И ёлка была настоящей — колючей и пахнущей мандаринами. Плюс удивительное чувство сопричастности к делу и к духу родителей — наравне с ними и в ратном подвиге, и в заслуженной награде; они отпахали пятилетку, а ты почти год издевался над характером, демонстрируя чудеса прогресса и в учёбе, и в поведении. А чего ради? Мещанское чувство превосходства в короткоштанном возрасте — не то, что у взрослых — выдыхается без остатка и сожаления. «Моделька» с воображаемым человечком за рулём поколесила полгода по партам — на зависть друзьям, попрыгала на ковровых трамплинах дома, пару месяцев простояла в гараже — под подушкой и надолго исчезла среди созревающих помидоров в полумраке широченной тахты. Когда нашлась — заняла почётное место на книжной полке: между собственноручно выпиленным из фанеры олимпийским мишкой (готов поспорить, что такие мишки жили во многих семьях Советского Союза) и кубиком Рубика — слегка вызывающим подарком для того времени. Знать бы — за что.

Капризно-канючащим ребёнком я никогда не был и не имел права быть, не страдал от вседозволенности (ввиду идейной иерархии родителей) — чёткая авангардная середина. Скорее, наоборот, мои детские и подростковые амбиции настойчиво корректировались по линии партии: октябрёнок, пионер, комсомолец — авторитетная школа созидания без особых бонусов для лодырей. Поэтому

упорнее остальных развлечений держались конструкторы — не дешёвые, но всегда своевременные и со смыслом: их ценность заключалась в ненавязанном творчестве и совершенно интимной фантазии. В советских мультфильмах не лязгали металлом трансформеры — максимум Самоделкины, а патриотические комиксы (да и не знали мы иных комиксов, кроме «Мурзилки» и «Весёлых картинок») не извращали психику андеграундом. Вот и выдумывалось «нечто» знакомое для соответствия, но эксклюзивное до последнего винтика — для себя. Стандартные четырёхколёсные краны и экскаваторы запросто превращались в навороченные броневишки на электрической тяге или в самоходки с лазерными пушками (для чего в арсенале имелись и лампочки из фонариков, и щиплющие язык квадратные батарейки, и замечательные моторчики, из которых особо любознательные детишки выковыривали магнетики). А нехватку деталей и опыта компенсировала фантазия: пусть и заурядная по нынешним временам, но достаточно прогрессивная для инкубаторной поросли семидесятых. Из блочного конструктора неопределённого назначения выстраивались футуристические крепости и дзоты: не примитивное «Лего», загоня собранное и обкатанное в буржуйских лабораториях (дабы не сломались мозги развивающегося homo sapiens), а настоящее спартанское Творчество. Сами по себе отечественные блоки-кирпичики выглядели по-советски скучно и сурово — сцеплялись кулаком, а расцеплялись зубами: из них легко возводились шаблонные стены мно-



гоэтажек или заготовки для типовой крепости. Но разве это могло остановить «юного строителя»? (Кстати, именно так и назывался чудо-конструктор.) Ландшафтный дизайн «рулил» уже в колыбели: в ход шла неубранная постель — горы, холмы, пещеры; для озёр и морей использовались миски и тазики, а книги служили гаражами и бункерами. Октябрюта умели творить сказку из ничего, как и их родители творили будущее из кодекса перво-строителей.

Итак, «нанотехника» под парами, военный полигон радует глаз. Чего не хватает в матрице game-эволюции советского ребёнка? — предвкушения. Битвы. «Наших» и «фашистов». Ностальгический парадокс: в двадцать первом веке есть всё, кроме тех пластмассовых и картонных солдат, что несли в военно-патриотической миссии страны самую настоящую ратную службу. Пока отцы и деды боролись с внешними агрессорами на политическом фронте и разгоняли военно-экономический потенциал армии до стального блеска, в «кукольном СССР» бушевала своя, не менее ожесточённая схватка с врагами внутренними. Вдохновлённые «войнушкой» гвардии — миллионы конвейерных солдатиков, танков, ракет, самолётов — отстаивали право маленьких кукловодов на светлое будущее родителей. Бились отчаянно, минуя идеологические условности «взрослых». И только рубиновые звёзды имели значение, потому что «наши» — верх уважения в том Отечестве. О «чужих» просто не говорили.

Первыми, как и положено, за «мою персональную советскую армию» воевали плоские пограничники — зелёные человечки с покусанными головами и ружьями, с частично оторванными от подставок ногами — достались от брата, потом завелись «красные» — кавалерия, пехотинцы и даже тачанка, разделившие вскоре судьбу пограничников — всё это действительно замечательно грызлось (и без риска отравиться метанолом). Воевали без лишних штампов — «who is who». Не немцы же. А через какое-то время коллекция пополнилась бандой викингов, отрядом спартанцев и шайкой ковбоев — немыслимое сокровище и для игр, и для натурального обмена. Простор! За одного новенького спартанца с копьём и щитом, например, я мог получить парочку викингов менее презентабельного вида или отдать двух надоевших ковбоев за рослого неандертальца с дубинкой — такие почему-то были редкостью. В общем, «живыми» тёмно-коричневыми фигурками при оружии, доспехах и выразительных лицах пацаны дорожили не меньше, чем заядлые коллекционеры японскими нецке. И это порождало реальную нравственную проблему: миниатюрные воины были настолько хороши, что истреблять их, как злодеев-фашистов, убогонькими винтовками пограничников или колоть кривыми шашками будённовцев, рука не поднималась. А фашисты были нужны. Без нацизма, как ни странно, возникал конфликт: нет зла — нет и победителей (взрослая логика в голове ребёнка — всегда безупречна). К счастью, советская индустрия игрушек произвела на свет крестоносцев: после долгих

увещеваний товарищей и неравноценного торга парочка «рогачей» возглавила «мою персональную вражескую армию» вермахта — сплошь из шахматных фигур, домино и игровых фишек. Так и выкручивался, расстреливая «в сопли» пешки, фишки и захватывая в плен рыцарей тевтонского ордена. Жалко было убивать. Слишком дорого. За одного «фашиста-крестоносца» двух лучших спартанцев отдал, за другого — трёх викингов. Нереальное жлобство товарищей!

А ещё переводил на глянцевую упаковку из-под молока или на картонные вставки из-под маминых чулок силуэты советских офицеров из детских журналов и книг, вырезал и приклеивал на подставочку: настоящих командиров катастрофически не хватало. Почему-то «пластмассовая промышленность» лепила преимущественно рядовой состав, как бы подчёркивая: офицер в стране политических старцев — дело индивидуальное, крайне творческое и одушевлённое (вероятно, и звёздочки на конвейерных командирах рассматривались как кошунство, а воображаемая стрельба в «своих» — как преступление). А я рисовал. Со звёздочками, орденами, иногда и с генеральскими лампасами, вручал им заострённые спички или стержни от шариковых ручек и отправлял в атаку. В разгар батальи прислонял к бутафорским знамёнам (красным, разумеется) как последнюю оборону, и никто не мог обойти или убить такого офицера; закрывал их спинами дзоты, и «наши» викинги, пограничники, кавалерия, спартанцы, танчики, ковбои... не оглядываясь шли на штурм — ведь

невозможно было пробить орденосного воина, сделанного своими руками. Даже друзья, когда мы воевали друг против друга «ничейными» солдатами, по умолчанию не покушались на святое: у каждого имелись картонные офицеры и звали их по именам живых, убитых или пропавших без вести дедушек. Случались, конечно, недоразумения:

— Зачем офицера свалил, фашист?!

— Я не специально! Я по солдатам стрелял... («стрелять» — означало катить металлический шарик от подшипника в сторону армии противника).

— Ты моего деда убил, фашист!

— Я — фашист?! Сам ты дурак и немец!

Как правило, всё заканчивалось скоро и мирно. Побеждал, конечно же, «хлюзда», требовавший в качестве компенсации убрать с поля несколько неудобных для противника мишеней — тех, что стояли отдельно. И «провинившийся» не особо спорил и упирался: гадостно чувствовать себя «фашистом» перед армией советских воинов, даже пластмассовых. И перед товарищем стыдно — за деда картонного. Такая вот нравственная самоорганизация на житейском игровом опыте... А ведь все любили солдатиков — и мальчишки, и девчонки. И мамы, и папы — в порыве чувств. Но миниатюрные витязи оживали в детских и взрослых сердцах отнюдь не кукольным театром, а реальным эпосом героической борьбы — добра со злом, белого с чёрным, умного с глупым. И ребяташки по-настоящему переживали поражения бутафорских

армий, порой и плакали над «могилами» «павших» воинов, а главное — не умели и не смели лгать на поле брани... даже самим себе. Никому и в голову не приходило, что злодею можно сострадать, а герою приписывать несовершенные подвиги — и то и другое считалось одинаково злым, постыдным и пахло предательством. И последнее было большее, чем смердящее клеймо «фашиста».

Параллельно кукольным баталиям появлялись другие интересы — другие игры, постепенно отодвигавшие пластмассовых солдатиков далеко в тылы — к Петрушкам, зайчикам, машинкам, конструкторам; немногие заняли почётное место на книжных полках (кто уцелел, не пропал без вести), а картонные офицеры и вовсе стали закладками в школьных учебниках или украшением на ёлках. Потом канули и они. Дети выросли, совершенствуя свои развлечения при минимуме затрат родителей. И патристическую этимологию некоторых игр до сих пор понять невозможно. Скажем, игра в пробки на победителя, привезённая мной с БАМа: чья устоит после закручивания большими пальцами, а ещё лучше — собьёт пробку противника. Или банальный обмен. «Соплюшки» от всевозможных тубиков котировались слабо и шли десять к одному за «сотку» — цилиндрическую, весьма устойчивую пробку костяного цвета от отечественных одеколонов; блестящие «короны» от дорогих французских духов — вне конкуренции, а безусловный хит — «венера» — аккуратная круглая пробочка зо-

лотого или серебряного отлива со способностью неваляшки. Зачем появилась такая игра — непонятно, но пахла она чем-то буржуйским (особенно «венеры» и «короны»). И что удивительно: мы и пробки ранжировали по-армейски — солдаты, офицеры, генералы. И не просто выигрывали, а всенепреренно — побеждали врага. Как и в «ножички». Чертим на земле круг, делим на равные части по количеству участников и начинаем по очереди метать «складишок» в сопредельные «государства», оттяпывая по кусочку. Капиталистическая забава. Но для меня отведённый надел всегда оставался землёй «наших» — и в шаг, и в локоть и в ладонь шириной.

Вообще, в тепличном поколении семидесятых трансформация детских забав происходила с той же закономерностью, что и мировоззренческое взросление октябрят-пионеров-комсомольцев — независимо от того, был ты шалопаем или всё же ленинцем. Или шалопаем-ленинцем — не важно. Идеология партии и житейская логика «нашей» страны опекала всех одинаково. Сказано, что «октябрюта — дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут», — так тому и быть. Октябрюта веселились много и задорно, и совместные проказы не угнетали «белых ворон». До поры. Пока кто-нибудь не произносил клятву: «Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин...» Бороться и горячо любить Родину по утверждённому стандарту (да ещё и коллективно) мог не каждый — не соотносилось это с легкомысленными устремлениями поиграть в солдатиков, в пробки, в кук-

лы, в классики или погонять в футбол. Пионерская клятва обрекала на заданный результат: иные игры — иные состязания, иные победы — иная ответственность. Сбор металлолома, макулатуры, бесконечные эстафеты, концерты... — тесновато для личности, перешедшей на партизанский уровень военно-патриотического творчества. Магний и марганцовка в спичечном коробке — об стену, карбид в бутылке с водой, а лучше — в унитазе, «дымовушка» из теннисных мячиков в подъезде, хлопки «пугача» под ногами прохожих, наконец, самопалы, иногда отрывающие пальцы... — так мы развлекались за рамками записи в дневнике об участии в общественной жизни класса. Мой усреднённый результат — «уд» с маленьким плюсиком за сочувствие. Почти протестное хулиганство против корпоративной порядочности общества (безликой к тому времени порядочности), но и без корысти, однако. Никто не готовился стать террористом или бандитом, а в запахе серы и пороха ощущался трепетный кайф: как на войне (а война — не «Зарница»).

К комсомольскому возрасту мы и вовсе перестали играть — в смысле *играть* (в «дурачка», в «трясучку» — не в счёт). Развлекательная индустрия Союза не заморачивалась индивидуальным досугом старшеклассников, предпочитая развивать их интеллектуальный и спортивный потенциал. Ни компьютеров, ни Интернета. В ходу олимпиады, выявляющие будущих гениев, спортивные состязания «на разряд» и культурно-массовые мероприятия под бдительным оком классных руководителей: похо-

ды в кино с последующим обсуждением, свободные литературные чтения и — с боями — танцы раз в четверть в полумраке душевной рекреации. Ещё и середина восьмидесятых на дворе: эпохальный поворот мерещится не только партии. Фильмы подбирались или шокирующие — «Иди и смотри», «А завтра была война» — парни местами закрывали глаза, а девчонки рыдали в голос, или поучительные — вроде «Чучела» — некоторые сбегали до окончания сеанса. Читали мы и «плохих» поэтов в новом звучании — Мандельштама, Гумилёва, Бродского; «недостойных» писателей передавали из рук в руки. А что натворила «Юность», запустив в мозговую кашу редееющих комсомольцев Чонкина (под экстазы «Кино» и «Наутилуса»), — цивилизацией до сих пор не усвоено. А школьные дискотеки... Коротко: в СССР секса не было. Но мы тянулись к нему всеми фибрами гормонов, «ненароком» добавляя в музыкальную программу всё больше и больше «медляков». Любовь оставалась чиста... И какие игры при таком-то фоне? Да ещё с военно-патриотическим уклоном? Мы сами по себе накачивали мышцы в подвалах наскоро сваренным «железом», отрабатывали акробатическую технику на турниках — некоторые фигуры не снились и цирковым гимнастам. Девочки на ощупь осваивали науку обольщения: ненароком укорачивающиеся школьные платья (вроде как «вытянулись» девочки) и робкая косметика на невинных личиках сводили с ума не только мальчишек, но и заслуженных педагогов (в соседней школе несчастный физрук на неделю вошёл в ступор, об-



наружив однажды на занятиях смачные попки девушек в спортивных трусиках). Сильнее других моральное разложение переживал военрук: он искренне заинтриговывал будущих призывников солдатской романтикой — маршбросками в противогазах, выправкой по уставу, вспышками слева, вспышками справа... А подопечные «наши» вызывающе «проникались» идеями пацифизма. Солдатики, взрывпакеты, пугачи... — какое там! Отставной полковник скрипел протезом и выкрошенными зубами, зато девочки смотрели с доброй улыбкой на мальчиков-пофигистов — не хотелось им расставаться под «Марш славянки», когда во всю хитует «You're in the Army now». Ещё больше — не хотелось ждать.

А зря. Всё-таки зря советская game-индустрия не выпускала миниатюрных «фашистов». Чем неуверенней менялась страна, тем стремительнее адаптировались вчерашние дети в блекнувших ценностях. Зло не желало быть злом, превращаясь в гротеск и теряя смысл, добро же становилось гипертрофированным суррогатом житейских «хорошестей», а в личном плане — всё более меркантильным. Героика советской страны и патетика «наших» захлёбывались в ложной свободе: не в той ценности, которую добывали деды на фронтах Великой Отечественной, а в западной мифологеме, что ратифицировала право на ошибки. Право отцов. И на самом высоком уровне. Вот где сквозило предательство! Но менять угол падения — поздно: следом спешили новые поколения — с дедами

из послевоенных сороковых. Не стало ни «наших» примеров, ни картонных офицеров, а героическое прошлое растворилось в кастрированных учебниках и фантастических блокбастерах. И мало кто из родителей стремился вернуться туда — в зачарованную детством советскую «Нарнию». Пусть она и снилась порой. Как самая лучшая, самая великая и вольная на свете страна; настолько лучшая, великая и вольная, что в бреду начинаешь гордиться и желать ей доброго утра и с высот стратосферы ласкать её взглядом — как любимую, как единственную, без которой не жить. И она отвечает взаимностью на это: «полиморфное психическое расстройство с характерными отклонениями в восприятии действительности и её отражении»<sup>1</sup>. И всё происходящее там, на земле, — ирреально, и люди — фантомы, и суть тебя — суть необъятной Родины. С реками, озёрами, лесами, полями, городами, улицами (...по одной из них ты бежишь мимо сувенирных лавок — спешишь, но цепляешь-таки раритетное войско: пограничники, викинги, тачанки, самолётики, спартанцы, крестоносцы... — наши. Наши! ...Но несёшься мимо, торопишься...).

Сегодня мой старший не верит ни в русские сказки, ни в американскую мечту. Он продвинутый парень, успешный сравнить образ жизни двух континентов, но так и не понявший — где блядство, а где демократия. Он играет в жизнь на выживание: просто живёт в сублиреальности видеомонтажёра и безбашенного экстрима. И читает какую-то

---

<sup>1</sup>Одно из определений шизофрении.

продвинутую хрень: говорят, модно, круто, контркультура. Чак Паланик. Пробовал. Интересно. Не понравилось. Но спокоен. Старший успел нахвататься хороших книг и до Паланика, и до «новейшей истории». А понимание, что «всё, имеющее силу, не валяется в пыли»<sup>2</sup>, придёт позже. Молод ещё... Дочка-тинейджер, напротив, беспокоит равнодушием к современной литературе и массовым развлечениям. Лет с семи клячила энциклопедии, сказки, с десяти — детективы, фэнтези, подросла — и затребовала Рыбакова, Фурманова, Кассиля. И только какое-то параллельное помешательство на вампирских сагах, «заштопаннных» плюшевых медвежатах (кукол не помню) и розовых кедах. Напрягает. Правда, не так уж и плохо на фоне разлагающейся страны. Да и «Вечера на хуторе близ Диканьки» ей нравятся... У младшего сынка на центральной полке — Гайдар, Носов, Успенский, Барто, Маршак, Остер, стопка комиксов про «трансформеров» и «черепашек ниндзя», парочка «моделек» на приколе (он уже в третьем классе), Бэтмен (чёрт бы его побрал — зато успешно отбили атаку суперменов). На периферии в упрощённом варианте, но без фанатизма — Верн, Дефо, Твен, Лондон, Купер. Обкатанные классики иностранной литературы перестали пользоваться авторитетом у детей — давно заметил, да и взрослые их не читают и не перечитывают. Зато рядом с ними, за ними, под ними — главное

---

<sup>2</sup>Л.Н. Толстой об искусстве: «Всё, что имеет силу, не валяется в пыли: припомните Христа, Будду и их влияние на самый низший класс...» (Орловский вестник. 1987).

сокровище: диски от навороченного PSP<sup>3</sup>. Это штука такая, способная довести ребёнка до необратимого экстаза, если родители совсем тупые и не понимают, чем грозит неконтролируемое увлечение «стрелялками» детской психике. Я понимаю: всё в меру — стандарт. Размазанные по экрану мозги — мелочи по сравнению с идентификацией врага. Её просто не существует в компьютерных играх, как и осмысления — за что воюем. Тупо убиваем, «мочим», «косим». «Напеси коды на писепи... нужен код танк все оружие плавучая машина броня и люди которые убивают друг друга...» — образчик записки от младшего к старшему. Поэтому отпрыск частенько обижается, когда я изымаю консоль на время — ведь я же её и купил... Верхняя полочка — сказки, много сказок: и новые подарочные экземпляры, и затрёпанные «толстушки» — жены и старших детей. Слава богу, школьная программа не окончательно деградировала — ребёнок сюда заглядывает регулярно. А вот Роулинг не повезло. После того, как в хорвардской эпопее затерялся томик Пушкина с невыученным стихотворением, Поттера изгнали окончательно, с позором... ко мне в кабинет. Да-да, я люблю очкастого волшебника: в его мире не ведут сепаратные переговоры с монстрами и к врагам — никакого сочувствия. Нижняя полочка — энциклопедии, те самые, дочкины. Их безумное количество радовало до поры. Про насекомых, рыцарей, собак, армию, космос, львов, акул, человека... — обо всём на свете. Радовало, пока я не загля-

---

<sup>3</sup>Play Station Portable — портативная игровая консоль.

нул в парочку расфуженных книжиц — лучше поздно, чем никогда: за яркими картинками — несуразности, за витиеватым шрифтом — опечатки, за желанием урвать на культпросвете — плохо отредактированные тексты. Но сынок не морочится — использует энциклопедии как строительный материал.

Единственное, что осталось у наследников от детства родителя, — ветхая «Лесная газета» Бианки (чуть не написал «Бьянки») и коричневый плюшевый мишка в изъеденной молью жилетке — последняя «живая» игрушка из моего СССР. Бианки востребован, как и природа. А мишка ежедневно всматривается стеклянными глазами на части тел биоников, мэнов, разноцветные блоки «Лего», разбросанные по углам, на обломки пистолетов, автоматов, гранат — в цельном виде их не отличить от настоящих; на компьютеры, приставки, незнакомые книги и вычурные журналы. Он сидит на почётном месте — на самой верхней полке, и непонятно, кто кем дорожит больше: мишка моими детьми или детишки мишкой. Но я чувствую — тревожно ему, хоть он и не показывает вида: доживёт ли до нового хозяина отваливающийся нос, заштопают ли надорванное ухо и что будет с ватными мозгами, лезущими наружу из швов? Мозги актуальны, как флешка: потрёпанный собаками топыгин не забывает пластмассовых баталий, победоносные штурмы «наших» и помнит картонных офицеров поимённо. А почему уцелел он один, не принимавший участия в «походах», — не разумеет. Даже конструкторов нет, а он есть — летописец вчерашнего дня. И ещё косола-

пый боится репрессий, глядя на исковерканных современников: яркие игрушки надоедают быстрее — их духовная ценность невелика.

О, как я понимаю зверя, брошенного мной на границе времён! Одинок он в мире иллюзий, где на смену картонным воинам приходят виртуальные диверсанты и отморозки-GTA<sup>4</sup>. Как игрушка, вырванная из контекста прошлого, бесполезна для будущего, а в настоящем — всего лишь декор, так и вырванный из эпохи солдат ничего не стоит в борьбе с ветряными мельницами. Просто вырванный из контекста ноль. И много ль таких обнулённых, шагающих по отрезкам времени — от точки до точки, от себя к себе? — Много. Как там чеховский Иван Дмитрич говаривал? *«Десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых...»* Вот-вот. От «здоровых». Много ль таких? — Легион.

## А. Сторожевое

Как-то привыкли мы к общению до петухов. Тётка ещё не начнёт греметь вёдрами к утренней дойке, а *она* уже тут как тут. Точнее — *он*, дед Ёрка. «Ну что, — говорит, — мандюк, опускаешься?!» Раскорячится и палкой своей потрахивает, что Будённый шашкой. Занятное

---

<sup>4</sup>GTA — популярная компьютерная игра, предлагающая игроку роль преступника.

обличье у совести: кривой костыль да самопальный протез, похожий на козлиный окорок. И толстая чёрная набойка — под стать копыту, и Ёрка — козёл — всё блеет: «А ну давай жопу, мерзавец, не то к мамке отведу, пришибёт!» Обидно. К «мандюку»-то с детства привык, но было бы куда опускаться. Сороковник почти! Поначала я принимал нездоровую ахиною за чистую монету и даже швырял в назойливого деда чем ни попадя — от пепельницы до кружки с молоком. С соответствующим шумовым эффектом, разумеется. Хорошо, что во времянке спал — через двор от хаты. Иначе бы сердобольная тётушка вмиг «санитаров» организовала. Но когда сообразил, что не «белочка», а совесть мучает, — уgomонился, даже интересно стало, весело. Потому как встречать шизофрению с достойным видом разумного человека — дело паскудное и бесперспективное. С практической точки зрения. А тут — шанс! Если в селе такой самогон забористый — может, ещё кто явится? Попрятнее. Всю жизнь мечтал с Пушкиным пообщаться, спросить по-свойски: «Ну что, пиит Шура, не больно за любовь-то умирать стало или по глупости это, а? И признайся, Александр Сергеевич, всё же «любовь — кровь» — ныне самая прогрессивная рифма...» И с Владимиром Владимировичем бы за страну потолковал, про нечищенные «сортиры» вспомнил и про особо мучающий вопрос — обязательно: что за порыв такой эпатажный — карапузам животы целовать? Не Джексон вроде... Или царевича определил (ой-ёй, а сколько лет мальчику-то)? Нет. Рановато с монархами разгова-

ривать. Лучше с поэтами. Их политические инсинуации не утомляют фатальностью. Вот Мариенгофу, скажем, в глаза бы взглянуть да как циник цинику залепить: что за мысли игривые на пороге смуты?<sup>5</sup> Наша «вечность» — не настолько смешна.

Иногда Ёрка и на могилку звал, к себе, разумеется: «Давай, мандюк, почтим фронтовика. Остограммимся по Костаку поминальной...» Костак — по принадлежности ко двору или родове (что равноценно в деревне) да за крутость характера, да за ляжку козлиную, чего уж. Возражать в таких случаях — безнадежно и неприлично: дед за мечту воевал, до звёзд дослужился, конечность под Варшавой на медали обменял и все награды завещал пионерам. По перепаханному штопкой зелёному кителю Ёрки мы весь победоносный путь наших солдат изучали. А сегодня гуляют его ордена где-то по просторам демилитаризованной родины, побеждённой даже не фашистами, а так себе — упырями без племени... Впрочем, Ёрке ещё повезло — другой мой двоюродный дед под Кёнигсбергом голову сложил — за день до Победы.

И шли мы по шелестящему ночному саду, распиная перезрелые яблоки и давя созревшие сливы, пугая топчущих ёжиков и беспокойно певучих лягушек, с принудительной остановкой под костлявой преснушкой<sup>6</sup>. Сюда тётка обычно не заглядывала — из-за гусениц, пауков и

---

<sup>5</sup>А. Мариенгоф. Циники: «Чем ближе я подхожу к вечности, тем игривее становятся мои мысли...»

<sup>6</sup>Сорт яблони.



прочих козьяков, которых жутко боялась. А зря. Тайничок здесь правильный. Лет восемь мне было, когда я зарыл меж двумя корнями самую настоящую артиллерийскую гильзу, исправно пополняемую арсеналом — вперемешку советскими и немецкими патронами, магазинами, ржавыми осколками, кусками автоматов и касок. Теперь в ней прохлаждалась — в буквальном смысле слова — чуть початая литровая бутылка «Jack Daniels» — как «энзе» и дабы вкусовые ощущения не растерялись. Бонусом — бутылка местного отвратного пива, обильно припорошенная дохлыми букашками. Сверху, в траве. Расчёт на брезгливую небдительность тётушки: если и обнаружит что подозрительное — дальше не полезет... Мы останавливались ненадолго. Костак хамил по жаргону и костерил по эпитетам, а благородный напиток обзывал то гансовским говном, то мочой диабетика. По цвету, вероятно. Я вяло возражал, потягивая виски: в конце концов, не один ли хрен бестелесному Ёрке что пью — шнапс или самогон? Угнетало другое. Совесть не затыкалась даже в интимные моменты. Стоило мне, загодя подогретому первачом, дойти до кондиции и приступить к любимому занятию — молчаливому вытью в небо, на звёзды, сквозь говорящую со мной крону яблоньки, у Ёрки тут же открывалось второе дыхание. «Вот сучонок, — ворчал дед, — ещё и романтика из себя корчит... Мы таким на фронте сопли порохом прижигали...» И в это время на голову обычно падало яблоко. Не эврика, конечно, но закуска своевременная. И сигнал опять же: мёртвые ждут...

На сей раз Ёрка явился без четверти четыре — я час как не спал. Похмельный сон алкоголика — тревожный и чуткий, выжатый до маразма. Когда за стеной отчего-то заёрзала квочка, я постановил — пришло время рожать рябушке. Собрался бежать за тёткой, да вовремя спохватился: раньше курицы появилось яйцо — да-да. Сон потерялся окончательно.

— Ну что, мандюк, опускаешься?! — с порога отекал Ёрка, отвечивая металлическим оскалом.

— Не я опускаюсь, дед, меня опускают... Может, посплю ещё, а?

— Сказал бы тебе — где опускают... — процедил Ёрка и начертал в воздухе решётку. — Тебе ли жаловаться, су-чара! Чай, на вольнице донской живёшь, а не на каторге сибирской паришься. Да шанюшки тёткины трескаешь, а не баланду шамкаешь... Квашишь опять же по-чёрному. Где ты на зоне такое видел, сявка?!

— Ну, дед! А феню-то где подцепил?! — искренне поразился я забуревшей совести. — А всё фронтовика порядочного изображал...

— А ты от меня интеллигентного разговора ожидал, чистоплюй?! Кому ты фуфлю гонишь? — вконец распоясался Костак. — Я тебя и на тарабарщине доставать стану, коль в скотину превратишься. А пока извини. Падла — ты и есть падла!

Прелесть какая! Вчера, можно сказать, сам душка явился: всего пару раз по матушке послал да разок — на-прямую. А так — шутил, про войну вспоминал да пьян-

ки мертвецкие «морализировал» — на своём же опыте, между прочим. Высоцкого в пример ставил. «Ты послушай, Женька, — надрывался Ёрка на манер Владимира Семёновича. — Не знали мы его песен ретивых, понятное дело — свои певцы в атаку вели. Да ведь и он пришёл не на блядки — вас, уродов, жизни учить, как не просрать её почём зря. А о войне орал так душевно, что любой фронтовик готов был заново амбразуры хоть жопой закрывать. И скажи мне, Женька, что душу его погубило? Война или водка?.. Э-эх! Баран ты с яйцами! Война убила Володю! Великая Отечественная война... Спиртяга так — для дезинфекции ран гноящихся. Выбор он сделал: на передовой быть и умереть на передовой. А ты, мандюк, до сих пор в окопах отсиживаешься да первач хлещешь, пока на твоих глазах офицеров Советской Армии расстреливают...» Вот и пойми ж ты его — злобствующего ветерана! Уже и о душе думать поздно, а он всё живых поучает. Но достал тогда крепко, всю ночь Брун-Цеховой в голове басил: *«А под балконом — вот те на! — во все магнитофоны хрипит Высоцкий: «Всё! Хана! Забуксовали кони...»*<sup>7</sup>.

— Слушай, дедуля, ты как-то поаккуратнее с образами, что ли. Уркой он явился... — «Конкретных» пацанов с соседнего порядка имитирует, не иначе. — А ежели у меня в собутыльниках батюшка окажется — проповеди читать станешь? Или сразу в паноптикум святых запишешь — как человека, совратившего диавола сивухой?

---

<sup>7</sup>Брун-Цеховой. Памяти Высоцкого.

— А ты, паря, тупой! — обиделся Ёрка. — Нет у тебя мазы от Бога, и малява на тебя с самой высшей канцелярии спущена: если не перестанешь бухать — всю страну накажут. Знаешь, как фашисты делали...

Как фашисты делали — узнать не успел. За секунду до того звякнули вёдра, и Зорька ответила протяжным болезненным мычанием. Нудный старикашка растворился в тени замшелой буржуйки. Сию минуту раздался крик Пиночета — нашего ободранца-петуха, прозванного так за лютую ненависть к курам. Встрепенулась и квочка — она больше остальных боялась маниакального придурка. Всё село вдруг закукарекало, залаяло, немного заблеяло и, конечно, замычало, как на последнем выдохе — урывками, вторя нашему сумасшедшему двору и гулу в голове. Доброе утро, страна... Пора засыпать. Минут через сорок на порядке<sup>8</sup> раздастся призывный хлопок пастушьего кнута и наша несчастная, выдоенная до последней капли старушка посеменит с десятком таких же полусонных, полудохлых зомби на аппетитные донские горы. Когда-то мы с дедом гоняли до сотни голов, и они тоже нехотя плелись на пастбища — но валяжно, сыто, лениво, с воспоминаниями о домашнем лакомстве на дорожку — добротном ломте заботливо подсолённого хлеба. И к позднему вечеру их нагулянные бока впритирку вползали в ворки<sup>9</sup>, попутно расшатывая палисадники и перила крылец. А у нашей Зорьки отрастало лишь вымя, напоминая раздав-

---

<sup>8</sup>Улица.

<sup>9</sup>Хлев.

шуюся от воды резиновую перчатку, болтающуюся между ног затейливого извращенца... К счастью, психоделику из мира депрессивных животных я наблюдал не так часто: к моменту, когда тёткина пеструшка уходила на променад, я уже крепко спал, измочаленный шизоидными разговорами. А к её возвращению был уже не в том времени, не в том месте, без обязательств тётке и претензий к самому себе. Разве что сожалел об упущенной кружке парного молока. И в общем-то, прав Ёрка — мандюк я. Случись амбразура — «взять нечем», как сказал бы царь-батюшка Александр Первый.

«Как-то шли на дело — выпить захотелось...» — догнало уже во сне.

— Жень... Жень... Женька, холера! Вставай! Ну... Жень...

— А...

— Катях на! Вставай, говорю! — теперь уже гремит со двора, как из ада. — Первый час уже! Ты обещал...

Примерно так начинается каждое персональное «утро в деревне» второй месяц кряду, невзирая на погоду, праздники и выходные. При этом я точно знаю, что никому ничего не обещал: в состоянии прострации вся страна живёт — не только Черноземье. Да и пустое это занятие в селе, где работа находится влёт, стоит на секундочку закатить глаза к небу и задуматься о несправедливости жизни. А здесь нет-нет да и случаются недоразумения. Как тётушка моя, например, неугомонная Ефросинья Иванов-

на — типичная русская баба, которую, коли станет на-  
смерть и руки в боки, колом не перешибёшь, способная с  
компрессионным переломом позвоночника несколько гек-  
таров сорняка выщипать по травиночке, а потом «из горя-  
щей избы кобылу вынести». Рассказывали мне в детстве  
историю про юную пионерку Фросю, что из пылающей  
конюшни жеребят выгоняла: чуть сама не пропала, а по-  
следнего нашла, задохлика, — так и тянула его с «огнен-  
ной» гривой за хвост, пока обоих мужики не вызволили.  
Вот и прицепилась к ней переиначенная поговорка. Уди-  
вительная тётка! Обижать такую не хотелось, грех. И «на  
поруки» она меня, алкоголика, взяла не из чистого состра-  
дания, а потому как изморилась в одну жилу хозяйство  
тянуть да по вечерам в телевизор плакаться. Ну и опыт  
опять же. Вытащила она моего двоюродного брата? Выта-  
щила! А ведь до петли дошло, наркоманской, — а это по-  
хлеще будет.

— Встаю я, Фрось, встаю... Уйми ты этого заморыша,  
а! Иначе, честное слово, конец хунте, до шей не доживёт!  
Чего он в обед-то надрывается, оглашенный!

— Обязанность у него такая — мертвяков будить. Ты  
лучше со своим мобильником разберись — либо отключи  
к аллаху, либо на звонки отвечай. Сил уже нет! Бом-бом!  
Бом-бом! День-ночь! День-ночь...

— А ты несправедлива, тётка, — захотелось вдруг по-  
куражиться над несостоявшейся интеллигенцией, — вот  
по ком звонит колокол?.. Правильно! Я и считаю — сколь-  
ко вычеркнутых дней в году, когда никому не нужен. Или

не должен. Или могу жить спокойно. Увидишь, Фрось, однажды он обязательно не зазвонит. И тогда пиши пропало, тётка, заказывай погост.

— Тыфу, окаянный! Брешет чего ни попадя... Вставай! Молочко-о свежее в сенцах... Блинцы-ы на столе... И собирайся к Хрёске! Вышшеню соберём, сухие попилим... Много её ныне уродилось... И дрова будут наново...

Ну когда она успела диалекта нахвататься? Каким образом вишня обыкновенная, какой она всю жизнь была в тётушкиных сибирских закрутках, успела превратиться в «вышшеню», а высохшая лепёшка коровьего дерьма — в отчего-то ласково звучащее слово «катых»? И это бывший секретарь-референт в крупнейшем за Уралом строительном тресте (расчленили, правда, до хозконторы)! И вообще — плагиат! Это бабушка, царствие ей небесное, имела право катых всучить либо мне, либо братцу. Или деду перепало, стоило чего не так расслышать. А тётка ещё и заурядные трёхлитровые банки кринками величает, а благородные махровые полотенца — утиркой. Вот же сила корней исконных! Впрочем... Чему удивляться! Моя благоверная переключается на «украиньску мову», как тот мобильник в роуминге, — сама того не замечая, стоит ей только оказаться в родной Хохляндии. А у тётушки — срок. Она здесь двенадцать лет с хвостиком, из них шесть, как половинку схоронила — стопроцентного сибирского мужика, так и не разменявшего родное наречие на воронежский говор. Не с кем ей лаяться на языке привычном.

Тоскливо. Вот кого из дядьёв я любил более всех родственников вместе взятых: за безотказность лютую, за душу сквозную. Уж лучше бы он замест Ёрки матюгами сыпал да нотации читал. Увы! Скорее «царь» явится. Не дай бог, конечно! Дядька был тёзкой его — тоже Володька, но с простыми житейскими истинами славянского разлива. К таким, как я, он не ходит: хлопотно это — дурака уму-разуму учить, да ещё и ленивого дурака. А про него миллионы километров советских кинолент отснято. «Живёт такой парень...» Жил такой парень. Звёзд с неба не хватал, но легко мог стать Стахановым или Матросовым — как партия прикажет. Он доходчивый был, хотя и беспартийный, а весь иконостас политбюро уважал — поимённо, верил «образам» без оговорок, потому как сам никогда не врал (заныканная чекушка — не в счёт). Через губу не разговаривал, не презирал, врагов не имел, с обидчиками пил, обиженных ненароком — прощал. Такая вот христианская непосредственность. И меня бесило, когда более удачливые родственники снисходительно указывали на его рабоче-крестьянскую недалёкость. Как будто не Володькины золотые руки чинили им карбюраторы и полочки приторачивали... Но своих не бьют... Закладывал дядька (о, ещё как закладывал!), да и спился бы, не будь рядом Ефросиньи Ивановны в неравной весовой категории — той, которую и колом-то не перешибёшь, не то что жилистой рукой тщедушного на вид мужичка: килограмм пятьдесят с хвостиком против девяносто девяти супруги. Не тем брал Володька! Не глазами голубыми — ясными,



как у ангела, и доверчивыми, как у ягнёнка. И не смехом сипловатым, заразительно добрым и искренним, и не кадыком, ходящим в волнении, как барашек морской... Его тихое обаяние интеллигента от сохи, от сердца, а не от ума прожжённого — вот что делало Володьку Володькой. И на него никто никогда не повысил голос (за исключением тётушки, разумеется), не упрекнул, не проклял. Только любовь — в ответ на собачью преданность.

Тоскливо. Сказал бы сейчас дядька по-простецки: «Да мать его ети, Жень! Вишни — так вишни, потом баньку сообразим — и повод железный, не откажет...» Погиб дядька. И не по пьяни, как полагали «более удачливые родственники», — работа сплющила. Натурально. Переломила, как спичку, рухнув на натруженную спину треклятым движком от ЗИЛа. А ведь за полвека ничто не согнуло Володьку: кто-кто, а он-то в окопах точно не отсиживался. И уходил, как и положено светлым людям, в муках.

Тоскливо. Каждый божий день — тоскливо! И чем, спрашивается, была плоха доморощенная депрессия? В Сибири хотя бы злость заскучать не давала — нет-нет, а приводила мозги в порядок, и желчь не застаивалась, выплёвывалась на кого следует и когда следует. Правые... левые... — не важно, если кто-то не прав и идёт налево, а ты в центре событий поступаешь моральными принципами. Демонстративно. Жёстко. Профессионально. Демократично. Это называется эффективный рг. И тебя называют эффективным рг-менеджером — специалистом в области public relation, профи по связям... разным. Или по-

литтехнологом, достающим из рукава козырные тузы на манер волшебника: не столько загадочно и красиво, сколько вовремя и расчётливо — когда фокус почти «не удался». Или рг-киллером, чьего слова бояться больше пули, потому как слово убивает мучительней... Драйв! А здесь? Как в солярии: солнце есть, но греет фальшиво. Ни интриг тебе — сплетни («...а Васёк-то вчера околотками возвращался, поди вдовый двор охаживал...»), ни креатива — быль («...дык плетень поправлял по-соседски, вот и запозднился малость...»), ни электората стоящего — село («...ну тренди, тренди...»), «...а кто это надысь...»), «...ах, кобелюка...»), ни лавр победы — сплошь моветон («...молчать, б., я с утра до вечера в... а вы тут...»). В общем, в переводе на литературный язык — тоска. Каждый божий день — тоска!

Зато блинцы тёткины — радость, пусть и не осознанная, и через день. Целая философия деревенской гурмании. Если я выйду во двор практически сразу после перебранки с Фроськой и не завалюсь тут же на ступеньки млеть на солнышке, а включу колодезную воду, чтобы подставить под ледяную струю распухшую черепушку, — это знак. Пиночет обязательно заткнётся и займёт пост верховного главнокомандующего на перильцах: лёгкий наклон головы с «зачёсанным» под Гитлера гребнем — мерзкий петух готов забыть вчерашний пинок, лишь бы получить вожаденную пайку. Курочки при этом пугливо ретируются кто куда. В саду заскулит Охламон (вообще-то — Тарзан, получивший нелепую кличку за невероятную пры-

гучесть) — единственное время, когда он скулит, а не брешет. Наконец, из подворотни, изящно прогибаясь, выползет с невинной мордой Чёрный (не досталось бедолаге нормальной клички — последним родился), претендуя не просто на блин, минимум — на остатки сметаны в блюдечке. Котяра и есть котяра, он знает, как мы с ним похожи. И лишь эта традиционность поднимает настроение, радует незыблемостью чего-то настоящего, аутентичного, что расплзается по груди светлым пятном, а в голове возникает шедеврами школьных сочинений — «Как я провёл лето...». С котом и петухом мы будем лопать тётушкины блинцы хором, подтрунивая над Охламоном. Во двор собаку не пускают, и эта беззвучная пауза для него мучительна. И вот на тарелке останется последний «блинец» — блинчик по-сибирски, отличающийся от полноценного блина Черноземья (толщиной в мизинец миниатюрной барышни) бессодовым нежным вкусом и почти невесомой оболочкой. Охламону — со слюной проглотить. Но прежде чем осчастливить пса, я ещё погадаю на дырочках и запечённых пузырьках тончайшего теста — сколько сегодня отпущено плетей на плантации Хрёски?

Плети — часы, бездарно потраченные на сбор урожая (копку, посадку, прополку, поливку, потравку, подвязку, окучку...). Ведь чего только не изобретут тёмные крестьяне, дабы не зависала в гостях городская интеллигенция! И не закисала тоже. И не то чтобы урожай плох — «вышшени» действительно уродилось море или работа не бар-

ская — всякий труд уважаем, как сызмальства приучили. Но у запасливой тётушки и подвал, и сени, и оба стареньких холодильника круглый год забиты варениями и компотами, и львиная доля сырья — с огорода Хрёски. При своих-то раздольях! Рыночная логика России-матушки: продавать по дешёвке — жаба давит и некому особо (до трассы с десятков километров), самим не склевать, а птицам оставлять — не по-хозяйски. Зато мокрый, склизкий, вонючий подвал к концу весны (а тёплые сени чуть раньше) сгенерирует «закваску» для бражки в невообразимом количестве. Тётка забадяжит наливку и по-соседски презентует вдовушкам (чтоб родственники-лоботрясы городской катанкой не потравились). Попробовал как-то украдкой: язык заплетается, ноги иксом, голова ясная, умничает, а до ветру сходить — парадокс... Пьяная вишня как есть. Вот и получается в деревне: неблагодарный труд одного превращает в скотину другого.

Да что в деревне? В стране, тётка, в стране! Сколько раз я внушал тебе, что бессмысленно писать президенту сопливые письма? «Москва. Кремль. О реальном положении дел в аграрном секторе...» Тыфу ты! Ещё и на измятых тетрадных листочках, пропахших плесенью, не оставляя пробелов между строчками, жирно подчёркивая цитаты для будущего послания главы государства. Чувствуется референтская школа. Наивная! А ведь ни одной вечерней политинформации не пропускаешь — по самому беспристрастному каналу страны. Тебе ли не знать о занятости президента: невозможно отвечать лично за всё, тем

более за реальное положение дел. В каком бы то ни было секторе. Сочи, Давос, терроризм, пожары... — у Кремля локальная стратегия, всё по науке. А ты к нему с вымирающим поголовьем племенных поросят, с зарвавшимися скупщиками беспестицидных яблок: «сотня — ведро». Ну откуда здесь рейтинги? И что в результате? Письма, с вырванной из «ящика» бравадой начальника сельского хозяйства, лягут поверх стопки подобной галиматьи, создадут критическую массу и обрушат безумные чаяния народа под стол. Дальше — рулетка: и не факт, что погибающие племенные поросята окажутся первыми в очереди на спасение. Выудят письмо какого-нибудь экстремиста, сущащего в качестве «антиглобалистского» протеста против повышения цен на гречку замостить Красную площадь катягами. Хорошо, если уволят министра, или службу безопасности разгонят, а ну как достанется ни в чём не повинной секретарше? Коллеге, между прочим. Скотство, тётушка, так нельзя. И без нас на Олимпе работы хватает: не захлебнуться бы у подножья... Ведь не донимала ты политбюро своими стенаниями, хотя лучшие годы в трущобах оставила.

Фрося злится. Обзывает меня лодырем и продолжает борьбу с ветряными мельницами. Это семейное. Матушка тоже любительница посочинять прокламации, пусть и эфирные. И батюшка на дебатах «собаку съел». Пожалуй, из всей родовой лишь мне удалось продвинуться чуточку дальше кухонных сплетен и отчаянных посланий. Стоило понять, что потребность писать от ума — фальшива. Под

рукой — материал, богатый соблазнами, полный эмоций, энергии, творчества — всего, что тебе не хватает... Социальный плагиат совершенен в нашей стране. А журналистика — патентованное право на плагиат. Сор из избы, скелеты в шкафу, грязное бельё при соответствующей литературной обработке — очень даже неплохо принимаются публикой. И, на удивление, она не замечает своего авторства: пиши ты хоть о коррупции губернатора, хоть о восьмидесятилетней старушке, бросившейся под электричку. Тривиальная чернуха, привыкли. Но как подать, не забывая о степени лояльности редактора власти и предвзятости власти к редактору, — в том и смак, и заработок хорошего репортёра, опирающегося на ремейки фольклора. Чтобы и злоба перекосила, и слезу вышибло, и на кухнях «дежавю» не стало, дабы на кухнях и умерло. И журналисту бонус, и правительству спокойно — всё под контролем. Потому и злится тётка: союзник из меня — никудышный. Последний основательный очерк я написал ещё в эпоху царя Бориса. И слава богу. По крайней мере, нет у меня на совести опусов типа: «Красноярский Дед Мороз стал членом партии «Единая Россия» или «На месте пожара, потушенного премьером, выросли цветы». Зато научился другому: фильтровать тезисы под определённое издание и впаривать электорату нужный message<sup>10</sup>. Тоже скотство. Пока из одного власть лепишь — на другого тонны дерьма льются, а «бандерлоги» отряхиваются. Вот и здесь...

---

<sup>10</sup>Посыл. Один из основных терминов в public relations.

— Фрось, а Фрось...

Я тяну время, цедя вторую кружку молока. В животе бурлит, в висках отзывается, полуденный зной ватой вваливается в кухню — печаль.

— Ну куда тебе столько вишни? Склянок уже не хватает... — (Может, сойдёмся на «попилить», всё проще, чем по деревьям прыгать.) — Фрося!

— Ну чего шумишь?! — наконец откликается тётка из курятника. — Удумал — добру пропадать! А на кой ляд пластаться тогда?

— А действительно, Фрось, на кой? Продай ты этот геморрой «басмачам», пусть надрываются. Или тебе браги мало?

Тётка молчит, партизанит. Видит, что не права. Но скорее Пиночет зарубится, чем она от идеи отступит. Кремень! Уж не знаю, что она там пообещала моей матушке, но старается идеально. Хорошо, конюшен Авгиевых нет — вот бы где я увяз по самое не хочу.

— Фро-о-сь? Фро...

— Жень, ну хватит балакать! Всё равно же пойдёшь... Совесть перед Хрёской замучит...

Аргумент, к сожалению. С дневной совестью не поспоришь. Это не Ёрка.

О... Хрёскино подворье да огород — что родина наша! Ахнешь сердцем да без слёз не глянешь, без вопля не отвернёшься. Хоть притчи пиши. На трёх совхозах держалось село, а ныне... Сады, растающие побегами оди-

чавших деревьев, развалившиеся кошары и фермы, частью ушедшие в землю, частично разобранные по дворам, джунгледоподобные посадки, наступающие на дороги и некогда пахотные земли, и около семисот отверженных — на доживании. Реальных рабочих рук, помимо гастарбайтеров, не больше сотни — доярки широкого профиля, механизаторы-универсалы, пожарный, электрик, почтальон, продавец, фельдшер да главный с гармошкой — тамада по совместительству. А когда-то в Сторожевом обитал дух деревенской свадьбы, ибо любой сельский праздник — свадьба с вынесенными под яблоньки столами и вишнёвым цветом, наполняющим вечернюю округу пьяной беспечностью. Видимой, безусловно. Над залихватским поначалу («Роспрягайтэ, хлопци, конэй...») и горемычным к полуночи («Там в саду при долине...») многоголосьем или беззаботным «лузганьем зёрен» на лавочке — в рядок, как «на карточку», передовыми соцобязательствами нависал рутинный труд жизнелюбивых колхозников, включая бабку Машку, или попросту Хрёску, как её называла чуть ли не вся деревня. И двоюродные внуки, правнуки и совершенно далекие от нее городские родственники, и случайные, заезжие люди — все величали добрую старушку Хрёской (а фамилию разве что на поминках и вспомнили). Своих же детей бобылиха не завела, как и мужика стоящего, но на правах младшей сестры моей бабушки крестила её детей. Отсюда и прозвище: крёстная — Хрёска... Её простенькая саманка<sup>11</sup> в одну

---

<sup>11</sup>Хата из глиняного грунта.



комнатку да кухоньку, выстроенная наскоро после войны на пепелище сожжённого мадьярами дома, никогда не за-  
пиралась от посторонних. Кроме фольгированных иконок в левом углу при лампадке, обточенного мышами кованого сундука в сенях, набитого ветхим тряпьем (тем самым, что в оккупацию закапывала в саду в этом же самом сундуке), да телевизора времён застоя — ничего более ценного Хрёска не напасла. Не было у неё целей жить «к завтраму» — ни материальных, ни духовных, а насущному радовалась искренне, как дитя. И помирала когда — жаловалась: устала, мол, на двор ходить и ждать, что рассвет не наступит. . .  
Здесь она приютила племянников, чья бестолковая мать сгинула где-то в городе в пьянстве и нищете. И, странное дело, все три молодца — как из сказки: старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Видимо, ментальность нашей страны всё же не только на заборе мелом написана. Костя — кучерявый, подтянутый, спортивный паренёк, шутя слетавший колесом по меловой горе, где и на карачках-то страшно было спускаться, умный, рассудительный — мечта райкома о крестьянской интеллигенции. Умер. Не осилил развратного города. Убили. Петро ушёл незадолго до Хрёски: незлобный, в меру трудолюбивый горемыка, покалеченный в армии до онемения в ногах — так и промаялся всю жизнь в селе в тихом пьянстве и с удочкой наперевес. Младшего, Лёшку, до сих пор где-то носит по свету да по тюрьмам. Если не зарезали. Был слушок. А коли и так. . . Шибко он бабку Машку уштал — кулаками да табуретками.

В общем, никто из непутёвых Разгуляевых так и не оставил на Хрёскино хозяйство наследников, никто и не претендовал. Семья — не семья, не разберёшь. Как-то вот так — без хозяина (во всяком случае, я никогда не интересовался, почему у бабушки Хрёски нет дедушки Хрёса). Вот Фрося и металась между огородами да садами за два гектара с хвостиком — без каких-либо обязательств и умыслов. «Вышшени жалко...» — только и сокрушалась тётка всякий раз, как я выбивал плечом перекособоченную дверь во двор. И не важно — для чего мы пришли. А поскольку по-иному в хату не войти, я неизменно отвечал устоявшейся фразой, стараясь язвить поменьше: «Всё под контролем, тётка. Кому безнадёга нужна?...» Никому. Хотя заросший вишнёвый сад и ныне славится на всё Сторожевое.

После ночного дождика пришлось повозиться — одного удара не хватило, чуть «воротья» целиком не вынес. Ещё и растянулся подле них с характерными диалектами. Мурава не просохла, а модная деревенская обувь калоши — они и есть калоши. Сколько раз их терял по грязи, столько и на траве поскользывался. Тётка зычно хохотнула и поправила:

— Разъелдай, по-нашему...

— Фрось, ну какая разница? Где ты здесь Даля увидела?! — окрысился я, отряхиваясь. Никогда не умел матюгаться по-свойски.

Вот дедуля у меня, опять же царствие небесное, загнул бы так загнул, и Ёрка бы лопнул от зависти. Но стро-

гий дед никогда не честил почём зря, особенно в адрес хозяйства. Уважал. А на трактор колхозный вообще молился — не дай бог станет посреди страды! Доставалось детям, внукам, бабке — само собой, но более всего — коровам. Сходяв с ним разок в подпасах, можно было уже и самому не стыдиться «плохих слов», и родителям не задавать глупых вопросов — почему да откуда? «Сука брудастая, ёп...» — выдал я как-то двухэтажный загибчик в морду плюшевой корове, скучавшей на коленях учительницы. Не знаю, либо они мне обе не приглянулись, либо продлёнка достала, но с тех самых пор терпеть не могу бранные слова не к месту. Спасибо деду и отцовскому ремню — позаботились о лексиконе ленинца.

Итак — двор. А вот и притча. Когда не стало хозяина — баба Маша сошла в канун Нового года пару лет назад, — первыми пострадали куры и старый хряк Василий. Кур порубили на поминки, а хряка зарезали к Рождеству. Пировали как и хоронили — всем миром, празднично и с душой поедая Хрёскиного любимца. Жилистость мяса компенсировал обильный магарыч (из Фросиных запасов, разумеется) по поводу оградки и дубового креста. Зимой — потосковали, весной — забыли. Кто далече родственников помнит? Да и закончилась крестьянская передышка. А хозяйство, меж тем, закисло: никто не кудахчет, не хрюкает, песни в тоску не поются, блины не пекутся, с устатку налить некому, радио об успехах агропромышленных не рапортует... — не о ком землеце заботиться. Дом — стоит. Мёртвый. Сад — живёт. Мёртво. Яблоньки

червей кормят, вишни — ворон. Где веники росли — осот вымахал, где картошку и бураки сеяли — мокрица да лебеда поползли. Разве что клевер благородный то тут, то там пробивается — только не для кого ароматы нагуливать. Умер сад-огород или ожил дикой спесью — невдомёк сельчанам, за своё бы хозяйство выстоять... И нашёлся таки сердобольный человечек — Фрося, решившая хоть за гроши «фазенду» отдать, лишь бы спасти от разрухи. Год и продавала — не сыскалось охотников за национальные проекты лямку тянуть. А единственного доморощенного фермера банки разорили. И с бумагами сельсовет волокитил — а ну как чужой придёт? «Полноте, — плакала Ефросинья Ивановна на коленях у председателя, — свои не идут...» А травушка вытоптанная когда-то до блеска двор уже освоила, в курятник и дровяник пробралась. И лежище хряково паутиной в три ряда затянуло, и от сеновала гнилью понесло. Дом стоит — совсем мёртвый, последние ласточки из-под крыши улетели. И крыша — не крыша: хребет надломанный. Зато сад ожил, и страшно там по ночам стало. Плодово-ягодные духи бродят... Ещё через год Фрося не выдержала, по весне кое-как подшаманила собственное хозяйство и перекочевала на Хрёскино с одной лишь навязчивой идеей — вишни да яблоньки уберечь. Иное — прахом. Здесь бы и рисовать с тётки национальную идею избавления страны от обломовщины и маниловщины, ан нет! Земля землёй, а мертвецкую недвижимость оживлять некому. Вот без чего государство аграрный вопрос не мыслит — без капитальных вложе-

ний. И «фроськи» ему — не соратники. Иль не помеха — «фроськи»? Иль время ещё не пришло — «...а затем».

Морали у притчи нет — не сподобились. Но любить эту землю, как мои предки или даже как тётка... — непостижимо. Для этого нужно родиться с сохой в голове...

Всякий раз пробираясь через унылый Хрёскин двор к саду, мы обходим безжизненный дом стороной, насколько это возможно. Тётушка споро крестится, я отвожу глаза. Дабы не привиделась за мутным оконцем веранды добрая бабушка Маша с попрекающим взглядом: «Что же вы, ироды, землю родную поганите? Летайте! Летайте...» Летаем, Хрёска, летаем! И тебе не хворать... А потом я смеюсь. И Фрося шарахается от меня — прокажённого смехом. Смеюсь, потому как сурово и страшно идти по границе безумия: то мёртвая жизнь под ногами стрекочет, то покойники нависают над головой — костлявыми сучьями усыхающих вишен. И где-то здесь Родина спит — на погосте у бабушки Хрёски. Не потревожить бы...

После акробатической раскоряки на дряхлой стремянке и балансирования на гибких вишнёвых ветках, тело ехидничает: «Майся, майся, мартышка безмозглая...» С костями проблемы ещё со школы — доэкспериментировался на турнике на свою голову, руку и позвоночник. Тупому, тянущему нитью от шеи до копчика вторит и Ёрка, хамовато пульсируя в висках. Ни выпить до заката — зарок у меня такой, ни расслабиться в речке. До Дону — далеке, ещё и под гору. Лежу, мух разглядываю, назидания Шао-

ва слушаю «да снобизм свой занюханный лелею»<sup>12</sup>. В голове — каша. К чему-то вспоминается вчерашняя новость: в Иркутской области покончил жизнь самоубийством мэр Катангского района — та ещё территория, депресняк. Три с половиной месяца как избрали. От правящей партии. (И почему это выдал федеральный эфир?) Мужу было всего пятьдесят два года, до мэрского кресла руководил соцзащитой. Повесился... Вроде бы знал его. Грустно. А другими новостями родина не балует... Зато тётка довольна — три сухостоя попилили и два ведра вишни у ворон отбили. Пряма-таки сводки с фронтов. Теперь подобрешая Фрося изобретает «холостяцкий» ужин — щи с давлёной картошкой и домашней тушёнкой и жареные кабачки с чесночком и майонезом; параллельно колдует над варевом для поросят и Охламона. Тётка — Цезарь. Она ещё и в хату заглядывать успеваает, там — последние сплетни по ТВ. От Малахова. Раздухарившийся сучонок Пиночет соседских курочек топчет — мальчику явно не хватает внимания. А Чёрный караулит «авось» — мало ли что с барского стола перепадёт.

Седьмой час. Пятница. Мобильник не умолкает. Всё правильно, в Иркутске — самый сенокос. В Сторожевом — время вампиров, таких, как я, сосущих из горлышка бутылки. Вру. Я пью исключительно из посуды — пока не было. Пролистал входящие: ни одного от жены, три — от дочери, ей отвечу sms-кой, как обычно: «Всё хорошо, солнышко. Маме — привет! Следи за бра-

---

<sup>12</sup>Строчка из песни Т. Шаова «О пользе и вреде снобизма».

том...» Куча звонков от тех, кому я не нужен: но на всякий случай решили напомниться — вдруг пригожусь. Много от мамы. Но я не способен простить. Пока не способен (выходит — быдло?). Но это — предательство: разлучить меня с семьёй, работой, друзьями (сам-то веришь?) и сослать в «разлив» собирать вишни, колорадских жуков и полоть грядки. Даже в советском ЛТП поступали гуманнее — там хотя бы знали о мере вины. Или вина... Я прощу, обязательно прощу. Куда-куда, а к отчему дому всегда возвращаются. Хочу вернуться не пьяным... Один звонок — от Артура. Нечего сказать старому другу. Да и выслушивать нотации в виде последних политических новостей — тошно. Остальные — неизвестны. Мёртвые звонки. Мёртвые, как дом Хрёски. За безликими цифрами никто не живёт, а может, обитает нечто тревожное. Тревога чудится всюду. Даже мухи летают тревожно. Зигзагами. Вертикально. Всё. Забыли. Просто пора выпить. Или поесть. Тогда и до заката продержаться можно.

У Фроси что-то с треском разбилось на летней кухне. Вздрыбленный Чёрный с шипением гадюки метнулся через двор на старую лозу — ровесницу дома: обиженно косится то на временку, то на крыльцо. Облизывается. Что-то не дали стянуть. Потешная картинка, напоминающая под тёткин отрывистый мат любимый мультик всех поколений «Жил-был пёс...». С небольшой оговоркой. От наглого кота в действительности никакого проку: мышей он не просто не ловит, он их боится, адохлыми — брезгует. Интеллигенция, твою мать! Как это по-русски!

Даже зверьё с ментальностью... Когда-то и мне «втирали» непреложные истины: каждый человек имеет предназначение и ценность, соразмерную предназначению. Если ты золотарь, скажем, и твоя высоко гармоничная стезя — убирать фекалии за другими, ты исключительно тем и ценен для общества. Потому как сам его институт, освоивший науку подтираться во всех ипостасях — с ароматом и без, с лечебным эффектом и без оно, никогда не возведёт дерьмо в ранг философии выживания. Убейте золотаря — человечешку неважного и дурно пахнущего, микроба с точки зрения космогонии, задавите его революциями или национальными проектами, в конце концов — отучите его хлеб зарабатывать, рекламируя благовоние жизни в розовых сериалах и голубых новостях: всё — труба обществу, захлебнётся в собственных испражнениях. А если это губернатор, премьер, президент? А если это депутат, чиновник, журналист? Предназначение понятно. Но какова ценность тех, кто от зари до зари пашет на вертикаль власти, а не на уполномочивший их институт, тех, кто подчиняется иерархии, а не порядку? О! Здесь великая тайна взаимозаменяемости! И сортиры — без особой казуистики. Покакал и смыл, и дальше — вперёд: решай государственные задачи, о народе думай, армию вдохновляй. Всё так. Всё так. Но и золотари меняются, и династиями живут. И если ассенизация в вертикаль не впишется, то в любой момент очень сильно подгадить может. Золотарь-то — внизу, в выгребной яме — фундамент вертикали фактически.



Забавные мысли котяра наваял, да записывать лень... «Мы есть то, чем себя ощущаем...» — вроде бы Довлатов изрёк, а не кот. Недурно. К вечеру я себя ощущаю вполне приличным человеком (утро лучше забыть), а на деле — примат, наделённый способностями «понимать» и «воспроизводить звуки» в процессе пищеварения и размножения. Я — часть безмозглого электората? Поздравляю! Не лучшее открытие в жизни. Каких-то три-четыре месяца назад меня бы разорвало от такой крамолы. Или сам порвал бы наконец того недоумка, что когда-то сравнил зелёного репортёра с назойливым насекомым. Или вспомнил бы слова учителя географии из самого захолустного уголка страны, до которого однажды докатились выборы: «Всё мимо нас, Женя, всё мимо нас... Мы только штрихи на контурной карте, списочный состав государства...», вспомнил бы и озверел вновь. А сегодня... я прощаю себе мутацию в нечто, оставившее за бортом семью, друзей, работу, мечту, сегодня я прощаю умение приспособливаться к условиям существования, которые всегда считал скотскими. Что это за ощущения? Кто мы есть на самом деле? Список? О да! Мы — список, перечень душ, заложенных и перезаложенных между землей и небом. И как странно, что каждый из нас — уникален и мнит себя кем-то стоящим в этой жизни... Как и этот обиженный плут с недовольной мордой. Ну кого он из себя корчит? Тигра? Тот бы вырвал добычу и сожрал на месте: всё без остатка, включая тётку... А зайцы по деревьям не скачут... Кот. Прохода и трус, и в то же время ловкая вороватая бестия, спо-

собная слямзить жирный кусочек из-под носа, а потом с честными глазами просить добавки. Как ни в чём не бывало. А ещё через мгновение — залезть под бок, свернуть-ся калачиком и заурчать приятную, одному тебе понятную песенку о больной душе. Выходит, и у общества нет шансов выжить без кота, кем бы он себя ни возомнил. Выходит, что так.

Ужинаем с тётушкой молча. Хотя она и пытается испортить вкус превосходных деревенских щей извечно горьким, глупым и наглым урбанистическим вопросом «Доколе?!» Во всяком случае, нигде, кроме городских митингов, я эту дилемму не встречал — вопрос есть, а отвечать нечего. *«Боязно, Жека! — поделилось однажды со мной высокопоставленное чело из Минкультуры — как раз ноль семь допивали за здоровье народа и за процветание партии — его партии, разумеется, единой. — Даже Он, — прошептало чело, — точного срока не знает, куда уж нам-то — холоу-ям... холопам то есть. Зато влёт определяет — кто виноват и что делать».* — *«И что делать? — спрашиваю одними губами. — Сдаваться?»* Несчастный человек! Сначала он побелел, потом покраснел, затем схватил разрядившийся мобильник, причём мой, и начал кому-то усиленно «названивать». В общем, изображал бурную деятельность, обильно посыпая углы кабинета устоявшимся лексиконом: «ВВП сказал — так и надо, а вы все — говны собачьи<sup>13</sup>...» Где-то я это уже слышал. Был в той стране, оттуда мы ро-

---

<sup>13</sup>Выражение прозвучало в фильме Э. Рязанова «Небеса обетованные».

дом... Господи, дошло до меня откровение, а вдруг и этот чинуша — того, засланный, из золотарей? Ну не сам же наверх выбился? Выходит, и система изнутри провоняла, и вертикали конец? Запор? Сомнительной свежести новость.

Аппетит перестал быть интересным и нужным. Доколе? Что Фрося вообще имела в виду? Или кого? Меня или шелестящий в хате первый канал: там Путин как раз окольцовывал усыплённого белого мишку — учёным вроде как помогал. Потом гордо ему, спящему хозяину Арктики, лапу пожал. Видел уже. Зациклились «на позитиве»... Больная, больная страна, если уже и тётка распознаёт эти символы! А ведь ещё профессор Преображенский предупреждал: «Не читайте до обеда советских газет...» Теперь телевидение рулит — на завтрак, обед и ужин — круглые сутки...

— Убогое всегда видится сердцем, тётъ Фрось, а прекрасное — глазами, — ляпнул первое, что пришло на ум. Достойное завершение трапезы.

— А? — растерялась тётка.

— Ну, я тебе катях предлагать не буду... А что «доколе?!»

— Доколе пить будешь, холера?!

— Я и говорю: если тебя не колбасит от собственной значимости — ты труп... До завтра, тётка, и пусть тебе приснятся белые медведи... А лучше — розовые киты.

— П-почему киты?.. Какой труп? Почему киты-то?! Эй! Ты обещал завтра... — донеслось уже за калиткой. — Орешник!

— Не шантажируй, тётка! Таджики напилят...

Я никогда не обещаю на завтра то, в чём не уверен сегодня. И не киты, а белухи. Не важно. Просто они красивые — белухи, милые и умные, как и все дельфины. Невероятно красивые. Объяснять некогда — это из детства. Солнце уже зависло на ресницах горизонта, и я спешу к уставшей звезде. Попрощаться. На всякий случай. И это — не пунктик, это — традиция выживших... А ещё нужно успеть в ларёк.

«Ночной ларёк, ночной ларёк — я этой ночью одиноко-к...»<sup>14</sup>. По саду пролетаю чуть не с закрытыми глазами, прихватив парочку рыжеватых яблок и мысленно пожелав удачи преснушке. Увидимся на обратном пути. Возможно. И так опаздываю. И солнышко торопится в иные страны или в иные миры. За ним не поспеть, не уйти, поэтому каждый вечер я провожаю светило пьяными слезами. Миновал больницу, отчасти превращённую стараниями приезжего батюшки в часовню — в стенах стоматологического кабинета, что характерно — зуб за зуб, и в дом престарелых — по-сельски извращённый аналог хосписа. Здесь доживают, выстраиваясь в короткую очередь на погост, те, кому не нашлось места в городских семьях, чьи подворья, как и Хрёскино, дожевывает безнадёга. Ни врачей, ни санитаров. Старенький пьянчужка фельдшер, его собутыльник сторож-инвалид да такая же ветхая сиделка — весь

---

<sup>14</sup>Песня «Ночной ларёк» написана А. Кортневым для спектакля Квартета И «День радио».

штат чистилища на десяток грешников-стариков. Чем они там питаются, на чём спят и какими пилюлями поддерживают дряблое бытие — лучше не думать. Хрёска умерла, почитай, в родне — у тётки дома. И слава богу.

Солнышко нырнуло за крышу больницы. Ещё триста метров по раскисшей дороге, почему-то не просыхающей здесь даже в зной, — и я почти у цели. Вот и погост виден (недалёк путь старости на покой), за ним — горы, за горами — Дон, за Доном — поля, на полях — пруды, дальше — посадки, и единственное, что немного огорчает в пейзаже, — атомная электростанция. К ней привыкли — за полвека она стала частью ландшафтного дизайна. Создатель, конечно же, не ведал о такой «науке», как «ландшафтный дизайн», иначе бы замаскировал массивные градирни и торчащие неприлично трубы под нечто более натуральное, нежели бетон и железо. Впрочем, АЭС — не помеха. Моё солнышко садится намного левее — в тихом повороте реки, растворяясь между двумя берегами. С одной стороны — меловая гора, сбегаящая в заросли камышей. И как будто лысая. Присмотрись — там и здесь наткнёшься на бархатные островки боярышника, шиповника. Подойди ближе — и склоны превратятся в соцветья клевера, чабреца и редкого донского дрока. И всюду — сурки, сурки, сурки. Я видел. Они тоже провожают солнышко, складывая молитвенно лапки. Это — их религия. С другой стороны — песок, оставленный земснарядом, и по-сибирски обычный, немного пологий берег с кучерявой растительностью. Именно этот контраст печалит но-

стальгическим расстоянием: от берега до берега, от края до края.

Ларёк — позади. Солнца уже не видно из-за крестов и оградок кладбища. Нужно спешить. Мёртвые не обидятся, я зайду к ним на обратном пути, и мы помянем нашу беспутную жизнь, поговорим по душам — душа в душу. А пока, на заключительной дистанции, я наливаю полный пластиковый стаканчик не то острогожского, не то воронежского пойла с явным привкусом сивухи и не выдыхая, не зажмуриваясь пью залпом. О последствиях часто говорят в криминальных сводках. Но на смерть нужно смотреть в упор, в морду: кто знает, чей оскал прикончит, а то и договоримся. Пустое. Последняя стометровка даётся легко — спина не болит, остальное водка залечит позже.

Я вовремя. Как вежливый гость, почитающий хозяев, потому и желанный. На моём пригорочке заиграли ускользящие лучики, а меловые отвесы задышали норками ласточек: их обитатели суетятся у самой реки — это к дождю. По горам ползут умаявшиеся бурёнки, постепенно сбиваясь в пёстрое мычащее стадо. Пастух отдыхает, наблюдая Чапаем на возвышенности, неподалёку от меня. Солнышко прощается и погоняет коровок домой, лаская бугристые, уставшие спины. Их ждут хозяйки с оцинкованными вёдрами, и, если бы село немного приглушило вечернюю какофонию, через какой-то час я бы услышал прекрасную сюиту в исполнении ведущей партии протяжных струй молока и упругого металла...

Батюшка-Дон. Тихий Дон. Кровавый Дон. Дмитрия Донского Дон. Ещё он поучал свою рать: либо головы сложим за Доном, либо всех от погибели спасём. Так умирали и советские солдаты — без оглядки назад, а их в упор расстреливали немцы и венгры, засевшие на меловых горах, местами — отвесных массивах. Наши — форсировали, враги — не сдавались. Наши били из пушек и пулемётов. Их косили миномётами и автоматами. Но наши вгрызались и шли в гору. В свою гору. И наши побеждали. Всегда. Потому что была Родина. В небе, воде, в земле. И здесь — на моём пригорочке, в заросшей воронке. Я сижу на её краю и думаю: это сделали наши — они разорвали фашиста в клочья, чтобы я жил. Зачем? Я всякий раз так думаю, когда светило пунцовым диском взрезает маслянистые воды реки и горизонт наполняется алой памятью об августе сорок второго. О жестокой мясорубке на Сторожевском плацдарме, о расстрелянных, сожжённых, повешенных, о десятке чудом уцелевших домов, о скромном, обшарпанном памятнике нашим и пафосном монументе мадьярам в соседней деревне. Зачем? Кто меня просил выживать после наших? И так неблагодарно кончать свою жизнь... Благо, нет Ёрки. Он бы ответил.

Я наливаю ещё стаканчик, выпиваю и теперь уже заедаю преснушкой. Сивушный привкус проходит. Ложусь на край воронки и готовлюсь к последнему ритуалу. Когда от умирающей звезды останется еле заметная кромка, где обитают духи с золотистыми локонами, она снова превратится в солнышко. Милое, дорогое, тёплое, ласковое —

всколыхнёт на прощание волну ослепительного света и... уйдёт. И дальнейшее меня опечалит. До слёз. Рассветы, закаты — всё это описано классиками «до» и будет воспето «после». Как и любовь, как дружба, как Бог. Я плачу. Мне не хватает любви. Я задыхаюсь без любви. Я умираю без любви. И я оскверняю любовь каждый день. Я рыдаю. Я был невнимателен и скуп на дружбу. И моя дружба — проклята мной. Я реву от отчаяния: «Почему, почему ты покинул меня?..» И остаюсь одиноким, не услышав ответа. Тет-а-тет с ночью, могилами и недопитой бутылкой водки. Слева — кануло солнце, справа — пришёл я. Преступник — меж двух разбойников. И вопрос «Зачем?» уже не стоит. «Доколе?» — В самый раз...

Пора возвращаться.

Обратный путь — не всегда возвращение. Если не знаешь куда — это к истокам, в радость. Это уклад. Но если всё время проторённой стёжкой — беда. Прожито, словно прожжено. В какой-то момент и я перестал импровизировать, предпочтя романтике и риску — комфорт и безопасность. И пути сошлись в одной колее, в одном геометрически безупречном отрезке: точка «А» — точка «В». О! Я получил удивительные результаты. Ведь беда не приходит одна, прежде приглашает удачу. Начало катастрофы — цепочка последовательностей, не вызывающих у здравомыслящего человека никаких подозрений. Талант журналиста проклюнулся в общество, общество вытолкнуло на поверхность — там обитала власть, власть дала



возможности, а возможности — капитал. И в той же коллее образовалась ячейка — добропорядочное семейство без каких-либо иллюзий относительно ценностей окружающей действительности. И мы воистину жили счастливо, изо дня в день возвращаясь к очагу натопанной дорожкой. Дети, работа, бильярд, клубы, пара друзей и куча знакомых, хорошие вещи — лучше хороших вещей, упакованный быт, распакованный отпуск — всё как у всех, только лучше. Так мы считали. А беда не дремала: подмечала ошибки, просчёты, неточности, вела статистику отложенных на завтра дел и реестр пустяковых огорчений, скрупулёзно плюсовала граммы и литры дорогих коньяков, виски, текил. И, наконец, явилась. Тоской. Я вдруг стал оценивать жизнь вокруг себя, и то, что ценил, отзывалось мерзостью и паскудством: и не где-то, а в моей персональной коллекции счастья. Не с молотка взятой, а по крупичам собранной: всё, чего желает и может достичь человек, не заложивший душу. На деле — бытовой спонтанный цинизм. И в рай не возьмёшь, и в аду ославишься.

Сопrotивлялся, пил, зарекался, возвращался к классикам. Мариенгофу плешь проел, споря с ним по ночам — где его место, а где моё, и чья Россия более извращённа в вопросах морали: неоперившаяся советская или желторотая демократическая. В его стране любимая ложилась в постель к другому, любя и чтобы накормить голодных детей — чужих, но прежде — голодного мужа («Ах да, Владимир... чуть не позабыла рассказать... я сегодня

вам изменила...» — «Примите, пожалуйста, ванну...»<sup>15</sup>; потом мужчины и женщина лениво попивали суррогатный кофеёк с горьким шоколадом и мирно беседовали о каких-нибудь тамбовских каннибалах. «О да, Мариенгоф, — донимал я воображаемого поэта, — ваша любовь выше условностей вымирающей буржуазии: страха — чахлая ротмистрская вдова, не дожидаясь поминок, ублажает палачей расстрелянного за торговлю кокаином супруга, и маргинальности — "Мягко и аппетитно чавкнуло полено. Неужели по женщине?" Современникам проще. Новоиспечённой аристократии не нужно беспокоиться о вырождении: она вдруг обнаружила корни нравственности у революционных предков и дворянские титулы в таблице о рангах. Её любовь не цинична, скорей — измеряема. В крайнем случае можно совокупиться с Интернетом, где полёт фантазии неограничен... Власть, Мариенгоф, вы её боялись, мы — нет. Но это — понятно. Вы жили декретами — о мире, о земле, о войне... — полагая их целью узурпацию общества. Мы живём по поправкам и давно привыкли к "твиттеру" — здесь казнят-милуют на сленге и призывают овец жить в правовом стаде. Виртуальная власть не страшна. Ведь ни собственного разума, ни национальных идей — сплошной плагиат подобоистрастного "креатива". Да и не голодаем мы, чего бояться? Если и жрём детей — не от нужды — от сатурновского страха, что займут наше место. И книги не продаём ради куска хлеба — теперь умные книги не дороже портвейна в

---

<sup>15</sup>А. Мариенгоф. Циники.

столичной забегаловке. Но всё также хорошо горят... — в мусоре на полках, в красивых обложках, в модных подарках с намёком...»

С пеной у рта доказывал я Мариенгофу, что невозможно сегодня отказаться от удовольствия сигануть с седьмого этажа лишь потому, что тротуар загажен отвратительной кучей отбросов негодьями, «проживающими поблизости от звёзд». Во-первых, у нас пока ещё работают советские мусоропроводы. В основном. Во-вторых, собственная жизнь перестала быть собственностью в собственных глазах — тавтологично, зато логично (таковы условия псевдодемократии). Если Мариенгоф рвался к вечности от безысходности любви и бесперспективности красного террора, то суицид спонтанного цинизма — это вызов. Посмотрите, вот я лежу ангелом на выметенном с утра асфальте, забрызгав мозгами начищенные туфли прохожих, и мне теперь пофиг, что думают он, она, они, страна, мир, Саддам Хусейн или Мавроди.... — вариативно. А разница налицо: презрение к жизни — не к обстоятельствам. Славно. Самоубийцы даже с Христом торгуются, дабы не сказать чего лишнего на страшном суде.

Мариенгоф, понятно, молчал. На зависть. И Довлатов, и Бродский, и иже с ними. Пусть и на капище, пусть на крови — они свою долю отмерили. И цинизмом, и социданием. Мне же и развалить-то нечего, потому как не знаю, что строить. А возвращаться... Были утомительные и безуспешные попытки что-то исправить, снова войти в колею — малоприятные и малоинтересные отрезки, по-

том — тихий бунт и камень посреди дороги: налево пойдёшь... направо пойдёшь... Прямо — оказалось село, затеянное ещё при царе Горохе для защиты границ московских. С соответствующим и подходящим для меня названием — Сторожевое.

Сейчас, по пути назад, я лишь осязаю маршрут, и это не утешает. Увы... — любимое междометие с некоторых пор, синоним безнадёги. Темно. Впереди — кладбище. За ним, по левой стороне — пасмурные очертания церквушки. По правой — семафорят огни ларька. Церквушка не достроена: облицовочный кирпич — богатая классика для захолустья, но купол ржавеет вторую пятилетку — в земле, вросший на четверть. Без креста. Убогий ларёк — филиал сельмага, чадит круглосуточно. И тоже без креста, но с внушительной арматурой на окнах — крестнакрест... У кладбища дорога раздваивается. Ни камня, ни указателя, зато очевидно — «прямо». Наши лежат и по левую и по правую сторону: там — бабушка и дедушка, здесь — дядька и Хрёска. Где-то между ними — ветеран Ёрка. По большому счёту, весь погост — «наши». Маленькое село. Появись тут могилка с незнакомой сибирской фамилией — и по глазам в родню зачислят, а нет — к соседям припишут. Деревня. Общее горе, как и общие радости, пока доступны.

Прикинул количество водки — вполне: на шестерых достаточно. Духи пьют скромно, а приبلудные гастарбайтеры только отхлёбывают — уважают чужие традиции.

Или суеверны до жути. Или попривыкли к хорошему: через день «обновляю» поминальные рюмашки, мужикам оставляю сигареты, бабам — цветы. Значит — налево. Там и васильки по пути, и родные могилки недалеко от входа. Прореху в ограде обхожу стороной: к живым-то не уютно с чёрного входа — как вором крадёшься, а здесь — память. Ненароком и своё и чужое горе обидишь... Из-под разваленного штакетника вылетела очумелая курица. Дура! Прямо под ноги. Потерялась, тварь... ух... Но дура дурой, а знак подала, хоть и напугала до смерти. Верной дорогой идёте, товарищ: церковь без купола не перестаёт быть церковью. Если в ней не гадят и на стенах не царапают срамных слов, если внутри не устроили торжище заезжие лоточники, а кирпич не растащили по дворам — стало быть, и черти не водятся. Стало быть, и ангелы в ней. А ларёк — он всегда ларёк: обтёрханный, обоссанный да заплёванный по углам. Девочку жалко, что за решёткой сидит: для кого-то она — ангел (ну прям Алёнушка васнецовская), для кого-то — сатана в юбке (коли в долг не отпускает). Отроду — лет пятнадцать, не больше. Её папаша церквушку и заложил. И где он теперь? Тот самый разорившийся фермер...

Сибирских стариков я вовсе не знал: деда-фронтовика не видел ни разу, бабушку эпизодически, только и помню — суровость со следами послевоенной нужды. Хорошие люди, уважаемые. Были. И в уважаемых местах похоронены. Здешные — в одной оградке квартируют, хоть и представились с разницей в десять лет. Семёныча серд-

це подвело, ещё раньше — самогон и пашня, в сорок втором — оккупация и плен. Сошёл на Пасху. Я тогда российский берег Амура стерёг — за семь тысяч километров от Дона. Прислал посмертные стихи и отчаянную телеграмму: «Я с тобой, дед!» Был бы тот жив — «прибил бы нахрен». Деда я любил и дослуживал тяжело. Дембельнувшись, приехал, поскулил, врыл эту самую лавочку. Теперь на ней поминают и его и бабулю, бабушку, ба. Кому — как. Для меня — бабуля. Она уходила труднее, цепляясь за жизнь, продираясь через инфаркты, инсульты. Оттого, вероятно, что к саду каждой клеточкой привилась — не хотела на детей городских оставлять, бестолковых. Хоть с мужем собачились, а яблоньки и груши душа в душу сажали. А может быть, правнука увидеть хотела, наречённого Ванечкой, — дорогой подарок к покою. Я обещал, и я не успел. Прислал фотографию... В последний раз она меня провожала чуть не до гор. Так и запомнилась — одинокой уставшей женщиной на краю погоста... Бабушкину рюмку не тронули, дедову — ополовинили. Разлил. Закурил сигарету. Давешний букетик заменил на свежий. Выпили. Заготовленной речи не было.

— Достал я вас уже, старики. Не обессудьте. Покой мёртвых тревожу в такую рань. Идти мне некуда, а вы — на пути... Ну, бывайте. Пойду Ёрке мозги полоскать...

Полная хрень! И ведь мудрые плакальщицы правы: нечего частить на кладбище, всё доброе по пути растеряешь — до мёртвых зло донесёшь. Простая сельская истина. К дядьке решил не ходить, к Хрёске — тоже. Она и так

мерещится не по делу. А вот Ёрка, зануда, — тот самый случай!

— Ну, здорово живёшь, дед! — обратился я с церемонным поклоном к мраморному краснозвёздному обелиску. — Как там, на небесах-то? Не обижают инвалида? Или ты в каком другом месте кантуешься?

Ночное небо ответило гулом. Как-то неуютно повеяло с Дона. За помрачневшие горы, меж берегов, поглотивших моё солнышко, беззвучно потянулась костлявая пятерня молнии. Миг тишины. Замерший ветер повис над оградкой. То ли удивлённый, то ли ехидный Ёрка в матовом овале — уж какого нашли в альбоме. Подрагивающий в руке стакан и переливающаяся гранёная соточка с «горкой» на блюдечке в центре могилки. Дымок от сигареты — вертикальной волной. Запах травы, запах коров, запах деревни, запах погоста — запах Родины... И оглушительный грохот разорвавшейся хляби! Благородную красоту и сочную мощь чернозёмных гроз я помню с горшка — мог бы и привыкнуть. Ан нет. Стаканчик вывалился из рук, оросив могилку, как и положено, — от и до. А Ёрка, паразит, смеётся глазами совести. Вот и поговорили.

— Ну, знаешь, дед... — перешёл я на шёпот, заново наполняя измятый пластиковый кубок, — ты кого раньше времени в партнёры пишешь? Небо, вишь, за него... Чуть «петуха» не пустил... Ты кончай, дед, живых позорить. Лежишь себе — и лежи, а я тебя помнить буду. Хочешь, ногу козлиную принесу — где-то на чердаке валяется... Рядом с обелиском воткну... — Помолчали. — В об-

шем, первый раз вижу, дед, чтоб ветерана такой канонадой привечали — и не на том, а на этом свете. Спи спокойно, блин... Пригожусь ещё...

К чему сказал — не понял. Не осознал. Выпил, догрыз яблоко, зашвырнул огрызок в сторону ларька, ещё раз поклонился обелиску, стараясь достать руками носки калош — вдруг оценит, и вполне по-хемингуэевски шагнул за оградку — под дождь.

Мне всегда казалось, что дождь не приходит случайно и меньше всего обязан прогнозам метеорологов. Оттого и вовремя. Поэтому никогда не носил ни дождевиков, ни плащей, не пользовался зонтиком, не убегал под козырьки подъездов от ливня... Люблю помокнуть. Есть в этом что-то от покаяния. В детстве мы играли с дождём в догонялки — он убегал, а я стряхивал его с деревьев или катал по траве; я звонко радовался «писающему» небу и не подозревал, чем оно станет для меня к зрелости. Сакральным ритуалом друидов, зовом предков, фетишем очищения. Душа плачет, выдавливая накопленную смердь. Сердце молотит в тамтамы желудочков как заправский шаман, искусно чередуя ритмы. Мозг лихорадочно вздымает извилины, разгоняя мысли и кровь. На выходе изморось? Поднажми — в голове недоработка. Скупые, тяжёлые капли? Тоже ни о чём, в тактах непорядок. А хуже всего — порывистый ледяной душ. Душа и сбоят. Не дождал, не раскаялся. Но когда синхронно, по уму и по чести — гарантирован ливень, тёплый и внятный. Омое, что выма-



рано, смоем, что замарано... Немало я угробил изрядных прикидов, пока не дошло наконец — *дождь не приходит случайно*. Тесно ему в облаках, его разгуляй-поле — мы, наша пресловутая совесть. Не ороси вовремя — завянет и сдохнет... Сегодня попроще. Джинсы и рубаша не в Китае справились, но после Хрёскиного огорода и они требовали хорошей стирки, как обычная роба. И ливень случился кстати: чистить — так чистить всё скопом...

К сельскому клубу подошёл вымокший до трусов, до селезёнки, почти трезвый, но вполне адекватный для общения с внешней средой. А «среда», к первому часу ночи изрядно проштудированная самогоном, традиционно бо-рогозила в поисках нонсенса. Немного в деревне новостей, ещё меньше — событий. Насколько я знаю, последняя «фишка» — мой приезд. Полтора месяца прошло — обса-сывают до сих пор. Идентификация: «Не Семёныча внук приехал? Нос не кажется...» Приветствие: «Ат, пропойца! И на кой это Фросе...» Знакомство: «Шельма! Сам нарвался!» Представление: «Кого отметилили, пидоры...» Вос-приятие: «Нормальный мужик, придурковатый только...» Линия поведения: «Такие бабки! И за такое говно!» Пер-спектива: «Наливает же...» Иных ярких впечатлений в село не завезли.

На крылечке дымит Серый в обнимку с дородной Катькой-шалавушкой — давалкой по идейным соображе-ниям и династийной дояркой по призванию. Мужичков жалеет, бурёнок любит. Девушка Серого, весьма соблаз-нительная селяночка с повадками гарпии, по весне ука-

тила в Воронеж культурно отдохнуть — и с концами. Через мать указала ревнивому дружочку его дальнейшее направление и была такова. Серый порывался «отрыть суку и зарыть по-настоящему»: попил, поскандалил, перегорел — забыл. Но рана осталась. Каким-то непостижимым образом она кровоточила, стоило кому-то под руку вспомнить о... красоте. Не беглянки — вообще о красоте, не важно чьей... Рассечённая бровь местного бандита заживает до сих пор — мой бланш рассосался недели через полторы. Так и познакомились, потом — подружались. Он младше меня лет на десять, я старше на целую жизнь. Он всегда плюёт на червячка и никогда не дожидается чуда — я закидываю удочку в волну и утешаю себя лже-поклёвкой. Он мудрее и опытнее в принципах. Он не воспринимает заумных слов, и мы часто общаемся междометиями — и он побеждает на границе слияния города и деревни. Он живёт на земле, а на звёзды обращает внимание исключительно в стоге сена: «Смотри, Катька, та звезда — она твоя. Осторожнее, бля...» Много там звёзд. Я живу на асфальте и вижу геометрию созвездий.

— Чё вылупился? Морды деревенские не нравятся? — как обычно сипит кореш вместо приветствия и слюняво хохочет Катьке в ухо. С этой фразочки и началось наше закадычное недоразумение.

— Отчего же, — нарочито вежливо продолжаю исторический диалог, — вы безумно красивые люди...

— Слышь, Катюха! — возбуждённо орёт Серый, перебивая «Ласковый май». — Вот за чё он в табло отхватил —

кра-с-и-и-и-вые! Ну, думаю, петух гамбургский... — начинает он в сорок пятый раз пересказывать «событие», всё больше и больше вдохновляясь чертами «положительного героя» — радетеля за родные просторы.

Серёга не лишён романтики и силен в вариациях, но слушать уже опостылело. Перебываю:

— Серый, Олесю не видел?

— Там она, — сходу огорчился парень, подбитый на взлёте души, — в клубе. Малой... Да забей ты, а... Сдалась тебе целка сучья... Возьми шалавушку вон, до капельки высосет... — И это предложение не оригинально.

— Спасибо, Серёг. Не скучайте, Катерина...

— Да брось, Жека! Вот твоя Шамбала...

Что «Discovery» с народом творит! У Серого дома «тарелка», единственная на всю деревню.

— Серый, Шамбала по-русски — это пофигизм. Бывай!

В клубе, как вчера, позавчера и двадцать лет назад, надрывается Шатунов. «Белые розы» вернулись, государство, их взрастившее, — кануло. «Розы» ворвались извращённой ностальгией — каким-то жутким, бездушным ремиксом. Теперь под «Розы» танцуют, как под приличную закуску, и «Розам» подпевают в тон. Раньше визжали, искренне размазывая слёзы и сопли: девочки — об мальчиков, мальчики — о подушки. Что за время! Тогда ещё не отдавались за кусочек бутерброда с икрой или глоток Amaretto. Любили честно, а не по раскладу — как незаметно уйти. Тогда мы были на краю бездны, и лепестки

«Роз» манили. Ради красоты жизни! Ради спасения жизни! Кинчев, Цой, Бутусов, Шевчук, Гарик... Их тоже танцуют сегодня. Благодарят. Потому что они своё дело сделали — не допустил циников к розам. Пока одни ковырялись в мозгах, а другие давили на сердце, мы соблюдали баланс. И мы могли не убивать друг друга за идеи, жрачку, бухло. А сегодня поделились чётко: глухой авангард, слепой андеграунд и что-то однородное в середине — мягкое, склизкое, пахучее. И как будто не мы.

Вместо цветомузыки в коридоре тарабанит люминесцентная лампа — испорчен стартёр. Зеркальный шар болтается, как боксёрская груша в офисе. Теперь звучит «Регги в ночи». Олеся поставила диск. Олеся танцует регги — танец непобеждённых рабов. Здесь никто не знает о регги: только я и она. Но я ненавижу именно эту скотскую песню. «Жить нужно в кайф...» — чтоб тебя! Лучше бы Боба Марли слушала. Зато всегда наслаждаюсь танцем и пластикой девушки, но скорее — самой Олесею. Гибкое, как лозинка, тело вчерашней школьницы, слегка мелированные русые пряди сегодняшней студентки, простенькое воздушное платье в горошек и выразительные, в чём-то гламурные глаза... Контрасты возбуждают фантазии. Когда Олеся танцует регги, она не видит никого и ничего. А никого и ничего — и нет. Трое по углам — не в счёт. Остальные пьют на улице. Пустой мир — пустые надежды. И ей невдомёк, что прямо сейчас — в её танце схлестнулись ангелы и демоны за грешную землю. Пусть и за отдельно взятую — сторожевскую... Музыка прерва-

лась — видения развеялись. Допотопный сидишник не осилил непиратский диск. Олеся снисходительно улыбнулась куда-то во мрак (там должен «пасти музон» лоботряс Никита), направилась ко мне и обвила шею руками. От невинного поцелуя бросило в жар.

— Промок весь... Опять будил мёртвых?

— Скорее себя, солнышко... Ты не уехала?

— Бабушка прихворнула, я на хозяйстве... А в городе — нет никого.

— Друзья, однокурсники?

— Они заняты городом. Не хочу танцевать. Пойдём в парк.

Что-то новое. Олеся как будто решает задачу: быть храброй или решительной. Сколько сюда ни приглашал, даже днём — девушка наотрез отказывалась. Парк — это аллея Славы, шириной в два метра и длиной в пятнадцать, с завалившейся лавочкой в начале и облупленным обелиском в конце. Где-то есть берёзка и моей матушки, посаженная пионеркой к пятнадцатилетию Победы. Мама — её ровесница, а мою дочку зовут Викторией.

Дождь кончился. Грустно и тихо, если не считать взрывов пьяного гогота со стороны клуба. Перед уходом я выпил с Серёгой ещё по двести первача. Стало хорошо и уютно. Олеся лишь покачала головой, но тоже сделала добрый глоток. За компанию. Или из протеста. С ненавистью посмотрела в глаза Серому, поцеловала Катку в губы, расправила её сальные пряди. Когда-то они были лучшими подругами. Я пожал плечами, Серый демон-

стративно покрутил у виска пальцем. «Вы оба — еб...» — услышали след беззлбное напутствие и хохот. И звонче всех смеялась Катька.

Мы не разговариваем, дышим небом, осязая друг друга через эфирную материю жизни. Я вспоминаю Олеся ребёнком, как катал её по горам на соседском мопеде — серьёзную черноглазую девочку. Уже тогда пятилетняя козявка анализировала впечатления, а не восхищалась, как все нормальные дети: ни рассветами, ни закатами, ни дождём, ни громом, ни облаками, ни рекой... — словно копила эмоции. Для одного ей известного времени «ч». Олеся, можно сказать, родственница — седьмая вода на киселе, четвероуродная или семиуродная племянница. И это до жути напоминает Набокова и до жути пугает — я боюсь влюбиться в Лолиту. Держусь. Но девочка становится всё откровеннее и откровеннее. Возможно, ей просто скучно. А скучающие люди переворачивают мир... А все люди братья, так?

— Поздно, Олеся. Тебе скотину выгонять?

— Да, бабушка не оправилась ещё.

— Тем более. Пойдём, провожу.

— Тогда — по садам. Чудно там, а порядок — в кашу после дождя... Почему на звонки не отвечаешь?

— Я не знал, какой из ненужных номеров — твой, извини.

— Всё равно бы не ответил, чего уж. Такие, как ты, — изливаются внутрь. Потому что — гонимы...

— Заливаются всё же...

— Не путайте меня, дядя Женья!

Вот те раз!

— Пойдёмте.

И мы ушли. Девочка, повзрослевшая в границах псевдореальности, и тридцативосьмилетний мужик, вырванный из этих границ. И если бы жизнью...

Как выглядит небо после дождя? Всегда разное и никогда непостижимое... Сейчас для меня это — боль, сорвавшаяся хрустальной сферой с ладони уставшего Мерлина и расколовшаяся на мириады надежд, и каждая звёздочка — разочарование. Ни достать, ни подарить. Престарелый волшебник разучился творить чудеса? Красивые слова, фальшивый сертификат на кусочек Луны — предел фантазий вне его мира... Любовь? Или карма романтически настроенного негодяя? Всеми фибрами души цепляюсь за последнее: так — проще, так — честнее. Мне — под сорок, ей — в два раза меньше. Пофлиртовали — разбежались. Поухаживал — подыграла. Всё. Никто никому не должен. Приятные воспоминания — спасённая жизнь... и честь. Даже если она не девственна — честь не принадлежит негодяям. А если и зачислит в «бесчувственные подонки», а ещё лучше — в импотенты — совсем вариант. Повестка будет исчерпана, вопрос — закрыт. И так и так — фиаско. Но просто проводить уже не получится. Уже не получается. Видно. Ощущается. Предвкушается. Она дрожит и прижимается всё теснее. Она замедляет шаг, стоит немного ускориться. Она молчит и ловит мо-

мент заглянуть в глаза. Я избегаю. Мне знаком этот омут. Её глаза по-прежнему анализируют, а не восхищаются. Господи! Ну почему в этой стране живут смыслами, а не перспективами?! Что тут анализировать? Что вычислять? Симптоматику робеющего пацана? Отвожу глаза. Тороплюсь. Отстраняюсь... Это — любовь?

— Вы меня как будто боитесь, дядя Женья! — выдохнула наконец Олеся в сердцах тягостным умозаключением.

Мы миновали преснушку на краю тёткиного сада. Через два огорода — её стёжка. Домой. Уже и скирда виднеется, смётанная бабкой.

— Мы вроде на «ты», принцесса. Как только Дон перешли... — идиотский юмор.

— Почему вы боитесь меня, дядя Женья?! — не обратила внимания на шутку девушка, и это прозвучало вызовом.

Ну что ей ответить? Чудно и банально говорить о звёздах. И при такой разнице — пошло. И слишком чувствительно для обоих.

— А хочешь, я подарю тебе сад?

— Дядя Женья...

— Сад. Хрёскин. Куплю у тётки и подарю тебе. Твоё маленькое вишнёвое королевство.

— Дядя...

— Олеся! Девочка моя... Ты будешь прекрасна в этом саду! Там в вишнях отражаются звёзды...

— Зачем?



— Это красиво...

— Зачем вы боитесь меня, дядя Женья?

...Я ехал в деревню один, дав последнее честное слово матушке, что доберусь живым.

Иркутск — Москва, самолёт. Середина июня. Короткое прощание с женой, уставшей от моих запоев до синяков под глазами. Вообще уставшей. Она боролась за семью до последнего. А я напоследок только и мог ей сказать: «Деньгами ты обеспечена...» Тяжёлое расставание с детьми. Плевали они на достаток. В кои-то веки отец уезжал без наставлений и обещаний вернуться. И трезвым. Они тоже устали. Сын вручил открытку с кукольным деревенским домиком на мрачной опушке и собственноручной корявой подписью: «С днём рождения, папочка!» Родился я в ноябре. Дочь обняла и разрыдалась за всех. Я злился. Три дня — на сухую. Здесь — могила, там — каторга. Выбирать не приходилось. Я не хотел угробить семью. Или то, что от неё осталось...

Москва — Воронеж, поезд. Меня встретили, проводили, сообщили родне вагон, купе и даже расположение полки. Демонстративно, при мне. Матушка позаботилась. Это взбесило. Через полчаса я уже пил коньяк в ресторане — чу-чух-чу-чух, чу-чух-чу-чух. Ещё через два — принял решение. Позвонил жене, предупредил, а утром сошёл на две станции раньше... Ново-Воронеж. АЭС — посадки — поля — озёра — дамба — поля — Дон — паром — горы — село — кладбище — сад — дом. Этот маршрут я

пройду с закрытыми глазами, без провожатых и проводников... Как только впереди показались меловые горы с игрушками-домиками на горбах, я принял второе решение — символично залепил микрофон телефона жвачкой.

...Паром стоял, намертво притороченный к причалу массивными ржавыми цепями, переправочный трос отсутствовал, паромщик — тоже. Его место занимала клокастая рыжая псина. Девушка замерла над быстриной и как будто плыла в ней. Одна. Стройная, хрупкая, беззащитная на фоне колыхающейся в воде пузатой горы. В лёгких босоножках и наивном платице. Для ночного клуба — «чайка», здесь — куколка, случайно забытая среди чужих игрушек. Я подошёл — она вздрогнула. Я поздоровался — она обернулась. Секунда недоверия, две — изумления. Глаза распахнулись, губы замерли, грудь подалась навстречу. В глазах — космос, на губах — роса, грудь — ничто не стесняет. Она улыбается сердцем и восхищается миром, и очень, очень осторожно дышит. «Боже...» Я обескуражен. Сказываются алкоголь и природа. «Вы ошибаетесь, — говорю, — моё место немного скромнее...» Её щёки слегка розовеют, а грудь нестерпимо желанна. Я возбуждён. И это совсем не похоть. Последняя женщина была вульгарна и крайне меркантильна. Девушка — сексуальна и слишком проста, мила и недоступна, как юность... Я ощущаю старость и вою от боли. Меня слышат Дон, отроги, лягушки — они замолкают в камышах, и даже водомерки перестают скользить в цветущей луже посреди парома... «Что с вами, дядя Женья? Почему

вы так страшно молчите? Вы не узнали свою принцессу Лесси?» Ну конечно! Принцесса Лесси! Выдуманная сказка о маленькой девочке, научившейся улыбаться солнышку. Маленькая Олеся, повзрослевшая здесь и сейчас. Маленькая и взрослая, и не просто милая, а неимоверно красивая, всё с тем же бездонным взглядом и открытой душой. Безнадёга! Стало ещё больней. Оказывается, мир не настолько плох.

...Потом я долго искал лодку — она оказалась в куге на другом берегу, пришлось переплывать Дон. И пока меня несло течение, над тихой рекой разносился звонкий голосок принцессы Лесси: «А помните, дядя Женья... А помните...» Я помнил. И от этого хотелось выдохнуть как следует и красиво опуститься на дно. Как Ди Каприо в «Титанике». Или некрасиво — как «Му-му». Скорее — последнее. Но бросить Олеся одну без помощи, на ночь глядя — не позволила совесть... Лодку перегнал под вечер. И мы долго сидели в ней, не торопясь обратно, глядя, как солнышко скользит на запад по алой дорожке. Я слушал певучие рассказы Олеси о духах воды и леса, рыбацкие байки о гигантском соме, способном утащить и нас, и радовался тому, что девочка говорит мне «ты» и не стесняется рассуждать о любви как о чувстве далёком и непостижимом. А когда солнышко кануло в мутную воду, а лодка уткнулась в илистый сторожевский берег, Олеся заплакала. И мне показалось, что не один я вернулся на родину залечивать раны...

**Я** стоял бестолково опустив руки, глядя поверх её головы. В сантиметре над скирдой зависла Венера. Протяни ладошку — и вот она, звезда счастья. Только возьми. Олеся отступила на шаг — и Луна чёртиками заиграла в омуте. Я не успел отвести глаза — и Луна не дала опомниться. В тот же миг Олеся порывисто обняла меня — истукана, и жаркое дыхание истомлённой девочки наполнило мир — и небо, и землю, и время.

— Это не честно! — топнула ногой Олеся-ребенок. — Целуйте меня! Ну же!

— Немедленно! — властно прозвучали слова Олеси-женщины.

Когда Венера упала за скирду, я уже ничего не понимал в этой жизни. Я разорвал метрики, отрезки, изменил привычное расписание дня по своему усмотрению, грубо вмешался в порядок, установленный правилами сосуществования, получил безраздельное чувство свободы... И я... — подлец. Боже мой, какой я подлец!

**Человек**, ни разу не встречавший рассветы, не способен любить открыто. Человек, не пропустивший ни одного заката, — любит искренне. Но такому человеку свойственна боль, она не даёт ему полноту любви. Он всегда ищет смыслы и не находит их. Он всегда один и никогда не одинок. Он изгой среди распознавших счастье. Он перестаёт быть человеком, окупающим данные от рождения метрики пониманием жизни. Он — упырь, поддающийся жертве. А жертва — слепа: «Не выделяйте меня из толпы,

дядя Женья, в толпе я — другая. Мстящее за серость пятно. А с вами я — ласковый ветер, нежное солнце, пробуждённая в неге мечта. Где настоящая — слёзы, где фальшивая — истерика... Я плачу, и вам не в чем упрекнуть меня. Тихая мечта превращается в бурное счастье... Ах, дядя Женья, дядя Женья, я так ждала вас! Принцесса Лесси стала королевой... Так восхитительно!»

Бедная девочка, ну что ты творишь? Тебе ли терять голову от восхищения?

Я терзался под преснушкой, допивая «энзе». Виски заливалось водой и отливало потоком слёз. Душу рвало в клочья, мозг ненавидел скверну, тело цепенело. И каждый нерв вспоминал Олесю блаженством. Что я натворил, Господи?! Что натворил!

— Как честный человек — ты обязан жениться, — не заставил себя ждать Ёрка. Впервые дед явился до похмельного сна, но почти в срок — до первых петухов. — Что, стыдно тебе? Горько? А девочка-то счастлива, не убивайся...

— Уйди, а, — всхлипнулось как-то отчаянно сопливо, — нехорошо мне ...

— А то! Прикинул я тут: ноль пять на закате, минусею соточку — покойничков не обидел, благодарствуем, четыреста в клубе, сейчас — ноль семь, не меньше. Полтора литра, дружок! Да тебе в нашу холодную компанию впору!

— Дед... Сука-а-а-а! — простонал я зло. Слёзы иссякли, давить на жалость бессмысленно.

— Заткнись, мандюк! Права не имеешь ветерана сукой обзывать! Я свою страну из руин подымал, и любовь на пепелище сладилась. А ты... Ты?! — казалось, дед вот-вот огреет меня по голове клюкой. — Да ладно, дыши... Я вообще по делу зашёл, — оттаял вдруг Ёрка (вот удивил-то, мать твою, деловой!). — Припомни-ка расстрел картонного офицера. Что ты чувствовал, когда отмывал «фашистов»?..

— Фашистов?

...Это началось двадцать третьего февраля две тысячи десятого года, в день рождения Красной Армии (или раньше, намного раньше...). Москва только-только представляла акценты в мартовской кампании, а Иркутск уже «выбирал» мэра и кипел митингами. Коммунисты одинокими пикетами просили правительство уйти в отставку — горячо и скромно, единороссы спасали премьера широкими народными гуляниями — с танцами, песнями и полевой кухней. На одной такой массовке организаторам пришла в голову блестящая идея — устроить пейнтбольный тир (праздник мужчин всё-таки). В качестве мишеней выбрали картонные фигуры советских солдат — героев вышедшего накануне в прокат фильма «Мы из будущего-2». Не по умыслу, конечно, — по скудоумию. Что было потом — известно: внеплановый скандал окончательно уронил планку единоросса. И кто-то должен был отмывать, кто-то обязан был возопить во весь авторитетный голос: «Премьер — он хороший! Правительство — оно своё, родное! Не слушайте мудаков, подста-

вивших Кремль (а заодно и кандидата)...» Вот он — барьер цинизма, непомерно гигантский между эпохами. На тот момент я держался полгода, получил за книгу неплохой гонорар и снова заявил о себе как о неплохом политологе. Для андеграунда — пшик, для авангарда — авторитет, поэтому и оказался востребован в роли ассенизатора: дабы запашок развеялся и вертикаль устояла. Возгордился, идиот, вдохновился, а когда опомнился — ни авангарда, ни андеграунда. Верные путинцы пошумели для приличия, наводнив прессу штампами о «многочисленных нарушениях», и переключились на внутривласть, а красные, опешив от привалившего счастья, по-тихому отметили чужую победу и рассосались по территориям. Двое остались на поле брани: истинный победитель-офицер, заляпанный пейнтбольной краской, и я, саморасстрелянный за его спиной...

Дальше — проще. Очередной запой, семейная драма, молчание друга — наихудшее для меня молчание, этап в деревню. Всё. Я ничего не чувствовал ни тогда, ни сейчас и не буду чувствовать завтра — я просто не помню. Как опустившийся подонок — право имею... И причём здесь расстрел?

— Э-эх! — продолжает сокрушаться Ёрка. — Баран ты упрямый, а не подонок! Москву сдал, Сибирь сдал, честь фашистам просрал, девчонку испортил, себя в палачи записал... Неужто параллелей не видно?! — ясные глаза деда заискрились бешенством. — Что тебе ещё нужно, чтобы стать героем?! Что?! — Ёрка с досады саданул костью-

лём сквозь ветви — и мне в ладони упало яблоко. — Дурак ты, Женька, ох и дурак...

Развернулся и заковылял прочь в сторону погоста — это новость, раньше он просто растворялся в воздухе, как Мефистофель. Я смотрел ветерану вслед и порывался уйти вместе с ним. Но не мог даже моргнуть, не то чтобы пошевелиться. «А ведь эта жизнь кончилась, — горько облизнула чумная мысль. — Если я вижу покойников, значит... Какой из кругов, интересно?» Ёрка, не останавливаясь и не оборачиваясь, поприветствовал мои открытия костылём, а потом вознёсся в западном небе.

Сию секунду звякнуло ведро и раздался крик петуха. Закрывая глаза, я представил возвращение солнышка. Оно запылится сандаловой зорькой на востоке, на краю деревни — в тон жизнерадостному мычанию тёзки — нашей бурёнки. В ту сторону ушла и Олеся — к свету, к надежде. Домой. «Как это здорово, страна, как замечательно, что тебе ещё нужны такие люди, такие коровы и такие рассветы...» И патетика не показалась пошлой. Наоборот. Захотелось стране пожелать доброго утра... Но не успел.

Уснул.

## **В. Воронез**

Здесь — не село. Тухловатой сыростью парит от канализаций и крыш, монотонная хандра барабанит по карнизам, а в витринах отражается шлёпающий по лужам сентябрь. Но повсюду асфальт, и я уверенно стою на ногах. И люди



свои — деревенские: и говорок не окислился, и амбиций не пуд (в том же Иркутске мужичка за версту видать — либо бурят, либо на полусогнутых). Что ощущаю — то ощущаю. Сижу за барной стойкой, спиной к окну. Переживаю шелестящую драму всеворонежского потопа. Осень. Там, в деревне, она сочная, яркая, словно в игрушечном калейдоскопе, сказка, под которую не засыпаешь, но дремлешь, воображая чудо; и всё же — вялая и грязная по пояс быть. А в городе — безлика, рыхлая, но комфортная и предсказуемая: листья облетают в установленный срок и в установленный срок их сгребают в кучи; а поскольку вывозить недосуг, то жгут, наполняя воздух диоксинами и ностальгическим запахом советских субботников. И первый снежок не застаёт врасплох, всегда успеваешь сгруппироваться: к финальным шашлычкам или к обустройству зимнего быта — не важно. Главное — по уму, всесезонно. Лично я готов как пионер: лучшее время для обнуления. Три года назад я написал книгу, два года назад — поэму, год назад — бросил пить и ничего не написал. До того — строчил километрами. И всё гниёт в чемоданах, редакциях и в душе. Теперь пью и вспоминаю Осю Мандельштама:

Воронеж — блажь,  
Воронеж — ворон,  
нож...

А ведь попадались эти строчки и раньше, но как-то не цепляли. И даже фонетически коробили на стыке «ворон — нож». А теперь читаются, как «Отче Наш», — на одном дыхании, закланием в стремлении избавиться от

наваждений и робости. И актуально. Я сбежал из Сто-рожевого в конце августа, послезавтра — начало октяб-ря. Сбежал — не думая бежать. Как пресловутая под-ружка Серого: на пару деньков, развеяться. Тётку преду-предил, о сроках не договаривались. Да и наскучили мы друг другу, и к гастарбайтерам Фрося приноровилась. Мобильный телефон, ноутбук, зарядки, зубная щётка, сигареты, самогонка в дедовской фляжке, ещё какие-то мелочи и бумажник — пустой, как и моя несостоявша-я сельская жизнь... — чуть не под мышкой. В куртке что было, то и осталось: паспорта — российский и за-граничный, парочка грозных удостоверений различных ведомств и кредитная карта с остатками роскоши — всё, что позволил себе, уезжая из Иркутска. Если не пить каждый день ХО и виски двадцатипятилетней выдерж-ки в помпезных заведениях, года на два-три хватит — я неприхотливый.

Но Воронеж захватил уютными барами, осенней гру-стью и глазами принцессы Лесси — неправильно, невыно-симо, противоречиво.

Я отказывался, объявляя горькую любовь преступ-ной, и Воронеж-блажь возвращался дождями. Сердцу!

Я топил счастливую любовь непрозревшим котёнком, и Воронеж-ворон терзал мою печень. Душу!

Я силился понять мотивы неравной любви, и Воронеж-нож превращался в скальпель. В голову!

И обратно уже не хотелось. Я почти месяц пытался уе-хать в Москву. Потом в Иркутск. Потом — из страны во-

все. Несколько раз мысленно возвращался в Сторожевое. Тщетно. Решительность пропадала где-то у Обвала: я не мог сигануть в пропасть с широко открытыми глазами; не мог распластаться кровавой лепёшкой по дороге к вечности. Несимпатично как-то, не поступок. Забудется, как первоцвет. И не пацан...

И как же ты вырвался из цепких лап Черноземья, Ося? «Ты выронишь меня или вернёшь...» Так, кажется?

«Иду. Любите?»

Долгожданная sms-ка. Всегда вовремя. Всегда лаконично. Принцесса хорошо воспитана и всё понимает. Мы конспирируемся, как заговорщики: Олеся — в институте, я — в кафе, на соседней улице. Она скажет подругам про самочувствие. И это будет похоже на правду — предательский румянец становится лихорадочным к концу последней пары. Она «больна» третий месяц. И чуткие подруги не торопятся делать выводы — не тот случай для сплетен. Они уважают и побаиваются Олесю. Я пересяду за другой столик с диванчиком на двоих — в полумрак, с видом на открытое окно. Там — оранжевый клён и дождь, оттуда придёт моя девочка, голодная и счастливая.

«Да...»

— Вы сегодня другой, дядя Женя. — Олеся внимательна: вчера я побрился и пил без фанатизма. — Щетину зря убрали... ещё и клочками... Она вам шла... Глаза... неутомлённые...

— И рубашка — к глазам. Так в магазине сказали... — (Подбирали, на самом деле, под джинсы.) — Садись, солнышко, я заказал твой салат и уху. Ты — чудесна!

Олеся впорхнула воробышком на край диванчика и засмеялась:

— А вас обманули, дядя Женя, обманули! Рубашка безнадёжно серая, хоть и нарядная, а глаза и ныне небом светятся... летним.

Как же она очаровательна в сельской наивности! Одна, посреди осени, в пастельном платице, усеянном васильками, протестует против хмари и уныния целого города. Я украдкой смотрю за окно — там уже неделю ничего не меняется. Небо — цвета рубашки и ни единого про света в пасмурной яви. Лето прошло незаметно, а девочка пытается вернуть его дремучей душе мелочью, сдачей. «Нарядная», «ныне...» — прям деревенским порядком поваяло. Бурёнки плетутся, собаки брешут, пастух загибает, бабки перекличку затеяли: «Здорово живёшь, Полинкя!» — «Да ничё ныне, и тебе, тётъ Фрось, не хворать...» — «А Воробыха-то квёлая, еле скотину выгнала...» — «А Васька-то, окаянный, запил...» — «Проспится антихрист...» Что-то шевельнулось и умерло.

Чуткий бармен оценил обстановку и кивнул официанту. На столе появились свечи, цветы, фоном заструились Вивальди. Почему-то «Зима». Кафе находится рядом с театром. На задрапированных стенах — фотографии бесмертных композиторов, скрипки, флейты и виниловые диски в выцветших конвертах. В центре лепнины — ро-

яль под массивной хрустальной люстрой с висюльками. Из-за «афинских» колонн и театральных портьер заведение выглядит овальным, уютным, с добрым налётом нафталиновой грусти. И называется правильно — «Соната». Сюда не заглядывают шумные компании (я вообще здесь никого не видел последние три дня), столики — максимум на три-четыре персоны, в основном — на две. Поэтому кухня вкусная и в меру дорогая, плохого алкоголя не держат — классики не пили дешёвый суррогат, классики вкушали янтарную и гранатовую жизнь. Я выбрал кальвадос: зацепило когда-то «Триумфальной аркой» Ремарка. Кальвадос и ностальгия по неизбежному — не та цена, чтобы мелочиться. Самое время и самое место сказать Олеся. Холодно и больно, и ярко, как она любит: «Прощай, девочка! Моя жизнь гниёт. Ты проросла в ней прекрасным цветком, но эта почва отныне бесплодна...» Это убьёт принцессу. Не смыслом. Цинизмом вычурных фраз. Пройдёт время и она возродится, и найдёт настоящую, не нарисованную рассветом любовь, настоящего, не книжного принца. А я — гонимый, да. Такие, как я, уходят. Она поймёт. Она уже поняла. Заготовленная траурная речь который день застревает в горле. Манит Обвал.

— Дядя Жень, не надо так смотреть. Я так боюсь...

Морской коктейль не тронут, она — голодна, она слишком много тратит энергии на мои проклятые чувства.

— Я знаю... — шепчет Олеся, склоняясь к моей груди. Её волосы пахнут знойными меловыми горами и чабрецом, она замирает ночными садами и гладью тихо-

го Дона. — Я знаю, счастливый ты мой несчастный дядя Женья. Я знаю...

Олесе больно, и она плачет. В окна врывается ветер, рассыпая по полотну пола кленовые листья и крупные кляксы дождя. Шедевр. Тухнет свеча.

— Я знаю... Ты давно хочешь уйти...

Проклятие многих — неумение ставить точку, проклятие избранных — многоточие. Зазвонил телефон. Кто-то ещё не оставил надежды отыскать во мне родню, партнёра, друга, мужа, отца... — человека и совесть. Кто-то ещё надеется услышать сиплое «алло» и тоскливо поведать о несправедливости мира. Или наоборот — жизнерадостно объявить, что ты выпал из мира. Навсегда. Разницы — никакой. Но я помню, помню! Ждать звонка. Не спать. Лезть на стену от малейшего шороха в рёбрах. Глотать литрами кофе — лишь бы не спать. Дождаться и услышать убийственное «Как дела?» — Нормально. И уже никогда не простить этой лжи. Скажи правду: «Плохо! Отвратительно! Дышать не могу! Спать не могу! Жить не могу!» Улыбки кажутся оскалом, рассветы — геенной, а кофе не наливают вовремя. Издеваются. Не понимают. Плохи дела! Отвратительны! Я люблю! А они заготовили счёт. Я люблю! А они ждут чаевых. Я люблю! А они благодарят и меняют пепельницу. Ещё кофе. И двести того же. Я буду сидеть до второго пришествия...

— Солнышко моё, — сжимаю Олесю порывисто и грубо, как непослушного ребёнка, — в охапку. — Ну что нам делать, а? Ну что ты творишь?!

И так — через день. Мы не успеваем толком ни поговорить, ни посмотреть друг другу в глаза. Мы можем замереть на минуту, а можем застыть на часы. Мы — странные. К нам привыкли. Мы прибавляем к счёту намного больше десяти процентов. Поэтому здесь уважают любовь.

Олеся не дышит. Кажется, я ненароком задавил свою пташку. Испугался. Нежно потормошил волосы. Со стороны выглядит забавно. Официант смущённо замирает на полпути с чистой пепельницей и зажигалкой, бармен понимающе отводит глаза. Мелодрама заканчивается: за Вивальди изливается Моцарт — «Реквием», «Lacrimosa» — последнее, что играл композитор на альте. Хотел бы я это сыграть для неё... Олеся вытирает щёки, мило шмыгает покрасневшим носом, несколько раз порывисто вздыхает и берёт вилку.

— Я живу, дядя Женя... И очень хочу кушать. Можно?

Ребёнок, ребёнок... Я улыбнулся улыбке, устало откинулся на диван, закурил и начал планировать завтрашний день: пора что-то решать, а не заучивать пошлые фразы. Не век же терроризировать чувства параноидальным пафосом в духе безнадёжного графомана! Взять билет — поставить перед фактом. Просто исчезнуть — отправить sms-ку. Уехать как будто в деревню — поймёт и даже проводит. Оттуда — в Острогжск и на все четыре стороны...

Господи! Кого я обманиваю!? Лучше купить новую рубашку — под глаза, в тон её василькам.

Я снимаю квартиру в центре, с видом на площадь, окружённую администрацией, библиотекой, театром оперы и балета, университетом, парком с фонтаном, кинотеатром и даже загсом. Полный набор научно-просветительских мытарств для свежеиспечённых ячеек общества. А в случае бунта — стопроцентный каменный мешок, из которого не просто выбраться: достаточно перекрыть пару улиц и на крышах расставить снайперов. Площадь — главная, поэтому в центре, как и положено, стоит одноимённый памятник Ленину. Если смотреть на монумент снизу, традиционное стремление вождя в облака — «вам туда, товарищи!» — не впечатляет. Рано. Я живу на четвёртом этаже — напротив, и мне всё время чудится фига. Особенно психоделически это выглядит под утро, за час до рассвета. Ощущение, что из всего вымершего города Ильич выбрал именно твоё окно, именно тебе, последнему из могижан, задаётся исконный русский вопрос: до чего довели страну, суки? Но держать ответ за весь Советский Союз — как-то не «по-пацански» (приходят на ум то Ёрка, то Серый), поэтому я безапелляционно задёргиваю шторы, оставляя дедушку в одиночестве. Пусть размышляет — умище! Чего уж. Здесь — монолитно тихо.

Зато помощнички у него — не дай бог: нет-нет, а куражатся да так, что совестливых единоклассников пот прошибает. Ко дню рождения вождя, например, обком расстарался и зарезервировал в городе самые шикарные места под баннеры. С них мудрый и почему-то грустный интел-



лигент в троечке, в классическом революционном галстуке в горошек вопрошал большими чёрными буквами: «Ну как вам живётся при капитализме?» Не хватало обращения — «суки». На фоне депрессивного утомлённого мишки (всегда казалось, что на символе власти вот-вот выступит капелька пота) — вопросец небезобидный. И актуальный спустя сто сорок лет после рождения великого идеалиста и двадцать пять после окончательного растреления утопической мечты Карла Марса. Кухарки, положим, не управляют, но кулинарные премудрости передали всецело. Фирменное блюдо — баланда, как была, так и осталась (пожиже, правда); барыги и шестёрки — в поварятах: от бледных комсомольских чревоугодников до ратных ультрамариновых гастрономов. И как-то не очень радуют всякие разносолы и буржуйские изыски. Впрочем... сверху видней, чем народу давиться.

Иду на кухню, варганю чифирь — приучил-таки Серый к неимоверной гадости. Романтика у него, вишь, воровская, пусть и без практики. Увесистая кружка с надписью «Выпей йаду!» (забавный подарочек для моей хозяйки от «любящего» внука) набухает заваркой. Мимоходом опрокидываю стопку «Белуги» — хоть что-то отличает город от деревни. Сажусь на разболтанную табуретку и с ужасом ощущаю протянутую в окно дулю. Здесь нет занавесок, и дедушка Ленин легко достаёт оппонента через провисшие жалюзи.

— Здравствуйте! — бодренько так. — Товарищ... Ммм... Мандюк, если не ошибаюсь?

Господи! И этот туда же! Я с сомнением изучаю остроносу «Белугу». Такое возможно? Водка куплена в дорогом бутике. После того как проводил Олесю, выпил не больше четверти бутылки, до этого в кафе — граммов двести кальвадоса. Чифирь? Вряд ли. Всего-то вторая кружка.

— Я к вам, обращаюсь, товарищ! Революция...

...В опасности, твою мать! И как же я забыл-то?! Стараясь не смотреть в окно, осторожно наливаю ещё рюмку, опрокидываю украдкой и занюхиваю горькими парами свежей заварки. Ленин где-то в душе укоризненно качает головой.

— Вот из-за таких засранцев... — начинает было вождь, и я уже не могу игнорировать шизофрению. «Засранец» меня бесит примерно так же, как Серого «красота», ещё со школы.

— Знаете что, Владимир Ильич, а не пошли бы вы... со своей революцией! Я не декабрист и Герцена будить не собираюсь... — (Ахинея какая-то!) — И вообще, ваша революция в девяносто первом закончилась, а сейчас...

— Вот! Вот! — эхом гудит Ленин. — Наитипичнейшее заблуждение русской прогнившей интеллигенции! Глупо думать, что победоносное шествие большевиков остановилось! «Аврора»-то холостыми бахнула! Чуете? Предупредительный залп, так сказать! Что ж вы, батенька, историю не знаете? — прищуривается вождь каким надо прищуром — историческим, таким, что мурашки со спины побежали.

— Вы бы поаккуратнее, Владимир Ильич, до две тысячи семнадцатого ещё далеко...

— Да не бздите, Мандюк! Бахать — оно по мозгам хорошо, а у вас в голове — сплошь ипохондрия. Увязнет снарядик-то... — И смеётся лукаво.

— О-о-ой...

Я осторожно исследую. Вождь в предрассветных сумерках и больничной желтизне фонарей смотрится демонически. Кучерявая тень обрывками щупалец ползает по монументу, оживляя скромное пальтишко порывами ветра, ложится на лицо, сдвигая и без того хмурые брови в суровую галочку на категоричном лбу. И губы шевелятся! Ей-богу, шевелятся! Я тоже лысый, и моя лысина становится категорично влажной. Сел, налил, выпил, закурил, налил ещё — задумался. К чему бы это? С Ёркой понятно — там хотя бы мораль, бред заскучавшей совести. Но здесь-то! Революция... И «вихри враждебные веют...» Выпил. Не отпустило. Запил «йадам» — стало ещё хуже.

— А не поставите чайничек, батенька?

— Ага! — нервно взвизгнул от неожиданности. — Кипяточку захотелось! Оно и правильно, какие революции без кипяточку...

Ёрка никогда ничего подобного не вытворял, дух всё-таки.

— Вот ты мне скажи, — не унимается Владимир Ильич, — как тебе живётся при капитализме?

Руки дрожат, никак не могу включить газ. Наконец сине-фиолетовые язычки пламени заскользили по дну

старого чайника — в копоти, словно с костров баррикадных. И со свистком на носу. Откуда он взялся в загашниках канувшей номенклатуры — ума не приложу. На столе удивлённо поблескивает матовым светом «Tefal». Посмотрел на пакетики «Lipton», любезно оставленные хозяйкой: чёрный с лесными ягодами, с бергамотом, зелёный «Чун-Ми», и мой рядом — крупнолистовой, байховый. От мысли, что буду выбирать и заваривать чай гряде железа — стало смешно. И совсем не бодро. Но рапортую энергично, предвзято:

— Хреново, Владимир Ильич! Спасибо!

— А чего так? — вдруг добреет Ленин, и мне кажется, что фига приобрела недвусмысленный вид кулака с оттопыренным большим пальцем вверх.

— А так просто! — воодушевляюсь игрой галлюцинаций. — Ведь в революции что плохо: никогда не знаешь, кому достанутся завоевания первых и для чего на убой ведут последних. Простите, Владимир Ильич, но у вас было куда стремиться, вот на утопии великую страну и насозидали. До сих пор растащить не можем. А у нас — полная задница, — честно признаюсь, разливая кипяток себе и Ильичу в гранёные стаканы в подстаканниках. (Бред! Ну бред же!) — Утопии — есть, а страны как бы и нет. Народ бухает, вожди испражняются. Так и живём — в полном ощущении порядка там, где свербит!

— Ну, ты это... поаккуратнее насчёт вождей-то. Вождь — он один! — хмурится Ленин (с «утопиями», вы-

ходит, согласен). — А голодно вам? Окромя водочки да чая, смотрю, не кушаете ничего...

— Да не заморачивайся, дед... Ой, простите, Владимир Ильич. Ещё как голодно! В магазинах капитализм загнивает... Колбасами сотен сортов, хлебушком ржаным да боярским, икрицей лососёвой да осетринкой... Я про дошираки и твиксы молчу — деликатесы, блин! Что сало с нежной корочкой. О... Сегодня ходоки такими гурманами стали, слюной захлебнёшься!

— Это вы шутите так? — не без зависти уточняет отпрыск крестьянина и мещанки.

— Да отчего же? Вы про народ спрашивали, а народ, он того, — сивуху с чайком и прихлёбывает. Голодает, значит. О кильке в томатном соусе тоскует и колбасу из мяса за два двадцать вспоминает. Со слезами, между прочим, вспоминает. По-доброму.

— Поди ж ты! Были времена, были! Это после меня — два двадцать? — по бронзовому лицу вождя тенью сбегает капля. — А потому как хозяина нет. Холуи одни! Разве холуи могут страной управлять и пятилетки планировать?

— Провокационный вопрос, товарищ Ленин! Я своё будущее вижу отчётливо — в тумане! Даже на ближайшие пять дней. А вообще... — вдруг захотелось подбодрить старика, — вас не стало — и в жилетку высморкаться некому. Наши чаяния нашей партии — глубоко фиолетовы. Чайку?

— Какой кошмар... — сквозит что-то по-ульяновски безрадостное. — Фиолетовая власть Советов...

— Вообще-то — голубая, Владимир Ильич, и не Советов вовсе... Не советуются они с нами. Так чайку?

— Ты это... — снова супится вождь, — с партией тоже поосторожнее. Одна у нас партия! Привилегия истинных патриотов. Как там Володя-покойничек писал: «Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия...»

— «...Мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин», — весело подхватываю я. — Со школы помню! И «достаю из широких штанин» тоже...

— Вредно онанизмом заниматься! — отрезает вождь и исчезает в сумерках.

Душевно поговорили, по-свойски... Революция начинается там, где шалит эволюция: либо крайне мерзка, либо крайне скучна. Априори. До свидания, Владимир Ильич! И с вождями у нас — тандем, полный порядок...

Фонари тускнеют, где-то вот-вот включится рассвет... серой городской дымкой. На столе — холодный чай с матовой плёнкой, водка, гора окурков в блюдечке рядом с вымытой пепельницей, потёртый чёрный ноутбук слепит экраном с единственной строчкой — «Доброе утро, страна!» — заголовок не оконченной и не начатой повести. Под ноутбуком газета, что сиротливо торчала из почтового ящика соседей знакомым словом «Иркутск». Таблоид вещал о чуде: «Мэр заявил о намерении восстановить Казанский кафедральный собор, который до тридцатых годов пошлого века располагался там, где сейчас стоит здание областной администрации...» Браво! Какая изящная месть! Чтобы лишить губернатора кресла, коммунисты

готовы снести его логово целиком. Эх, рано Ленин ушёл, рано! Я бы рассказал ему о перспективах восстановления храмов... Телефон огрызается sms-ками. «Как дела?» — «Нормально!» Всё нормально! И звонки донимают.

Мобильная карма.

Звонок в пустоту.

Я там потерян...

Нет, не потерян. Я ещё здесь. Лучше так:

Ленин — в окне.

Я — у окна.

«Кто более матери-истории ценен?»

Какой ужас! Болезненный самурайский ужас!

Владимир Ильич, как и дождь, не приходит случайно. Это я понял с первыми ощущениями солнца, растворяясь в неудобной липкости кожаного кресла. Шипящая пустота телевизора (любимая передача) и почти допитая «Белуга» — что хвост неудачного праздника: и повод испорчен, и догуливать — мелко. Дрожь унялась, дышать стало легче (если вовремя не отключиться на рассвете, лихорадка — дело привычное). В углу — заботливо застеленный Олесей диванчик: девочка знает, что я не ложусь в постель до утра. Защемило. Завыло. Трусливо, эгоистично. Вне логики и смыслов.

«А ведь никак без неё, пропадёт принцесса».

«Да господь с тобой! Окочуришься под забором или под монументом завянешь нарциссом — найдёт чем заняться. Похоронами, например».

«Что могу дать ей? Бессмысленность?»

«Подкормить бы неплохо. Тоже мне — село...»

Разговорчик, однако.

Чувствую, моя шизофрения состряпает-таки увесистый сентиментальный роман или хиленький сценарий для фильма ужасов. Не избежать. И так и так — на грани экстрима. Если быстрее не прикончит водка. Сюжетец голливудски прост: он — любит, она — любит, оно — мешает. Остальное — детали. «Гениальность данного произведения классика русской литературы начала двадцать первого столетия... (понесло!) в двойственном взгляде на природу вещей» (и хитро прищуриться, как Ленин). А ведь — истина, если говорить о «вещах». Практически все мои очерки, фельетоны, статьи — отмеченные, замеченные, а то и засуженные в прямом смысле слова — были написаны в бессознательном состоянии. Поутру я частенько удивлялся — и откуда сей «талантище»! И шёл похмеляться. А потом гнобила суетня редакции — заметки, репортажи, интервью: «Даёшь сто строк!», «Даёшь первую полосу!», «Даёшь!», «Даёшь!», «Даёшь...» Вот и раздал себя — построчно. Что-либо вспомнить от осознанного творчества прошлых лет — немыслимо, из рутины относительно недавней — омерзительно. Хотя... под «картонного офицера» ваял всецело вменяемо. Но что с дурака возьмёшь? Раздвоение личности — вещь удобоваримая для неделимой совести.

«Так-то оно так, — проснулась где-то в печени иная, вечно трезвая половинка, — а если и совесть — того? Шизует?»



Неожиданно.

У Ленина другие проблемы. Вождь один — одна партия. Я бы согласился, не развешивайся над языческим капищем триколов замест красного полотнища с серпом и молотом и не маршируй в обход лобного места пёстрые массы под портретами крёстных лидеров. Вождь/лидер — вот и вся разница. Привилегии? Ну — пожалуй. И там и здесь — партийная «касса». Только там была ответственность до расстрела, а здесь... (нелитературное слово) чистой воды. (Причём какое слово ни подставь — один смысл.) В огромной орде чиновников — «от Москвы до самых до окраин» — под защитой власти легко уживаются все те, кого до отмены смертной казни не успели кончить: педофилы, убийцы, насильники, садисты. Не массовка, разумеется. Но масса есть. Другая, жирно ползущая слюнявой ириской к привилегиям... Тут у меня, беспартийного — то ли товарища, то ли господина, всегда случается раздвоение, невзирая на личности. А чем я, в сущности, отличаюсь от всех этих упырей, готовых торговать родиной на взаимовыгодной основе? Будь то лоточник или банкир, академик или политик — не суть. (Опять же Ёрки не хватает, исчез где-то на границе сознания. И первача забористого не найти, и мозги вправить некому. Собственные смыслы — противны.) А нет никаких отличий, разница — в категориях.

Скажем, раньше я гонялся за привилегиями и добивался их исключительно бартером частных услуг. По бла-

ту, что называется. Так жили все, учит история выживания, — от крестьянина до генсека. Допустим, директор успешного хозяйства меняет привилегированных (опять же) племенных поросят на отборное зерно, загоняет его соседа — председателю колхоза, погоревшему с урожаем; у того растут показатели вместе с карьерой племянника; в результате первый секретарь райкома комсомола с прицелом на область и столицу благодарит передовых животноводов суперсовременной поилкой. Всем хорошо, особенно директору: поросят станет в два раза больше, в два раза больше шансов копчёному окороку из колхоза «Рассвет коммунизма» попасть на стол генсеку. Цель — бессмысленно далека, движение к ней — прогрессивно. Так и шло по-тихому, по неписаному: привилегия привилегию кормила.

Сегодня стройную иерархию круговых льгот порушил капитализм циничным вмешательством денег в отстроенную цепочку «услуга — за услугу». И кому теперь нужны копчёные окорока из ностальгических «Рассветов», если они продаются на каждом углу? Покупай и неси Иван Ивановичу с приветом из родных Бельдяжек. Сам Иван Иванович давно ничего не покупал, оценит. ... И не нужно быть семи пядей во лбу или обладателем стильного костюма, чтобы в аэропорту тебя обслужили, как vip-пассажира (даже если ты всего лишь — эконом-класс). Цена — по прейскуранту. В ресторанах, театрах, клубах — та же история. И всё различие-то: привилегия-связи и привилегия-деньги. Разве что уровень меркантильности в той стране был более

контролируемым, причём не органами, а самими участниками процесса. А в этой... Мой знакомый спустил семейный бюджет — точно в рулетку, чтобы попасть на один борт с министром: на азиатскую выставку вооружения рвался. И всё равно не обратили внимания: не тот круг, не та привилегия. Чуть не застрелился, бедолага, год себе места не находил. Потом отлегло. Появились новые смыслы. Теперь омаров недоедает, чтобы купить «Maybach», как у сына губернатора. Очередная ступенька в небо — усть хоть кого-нибудь. Жена рыдает, зато «Porsche Cayenne» под попой, как у дочки председателя краевой думы, а дети гордятся папиной кредитной историей. Вот так и голодаем, Владимир Ильич. В каком-то смысле — ласты уже склеили. От ушербности.

Свят, свят, свят! Моя последняя привилегия — хорошая водка. И то — без претензий.

Зачем-то вспомнился окольцованный мишка — хозяин Северного полюса. Представил себя на его месте и загрузил окончательно. Нет, я — не вымирающий тип, меня точно метить не будут. И лапу никто не пожмёт. Обберут спящего до ниточки и угрызениями совести наградят. Все мы в этой стране прозябаем с храпом и мыльными думками о свободе. Какой тут Герцен к лешему?! Заболеваю, что ли? Мысль понеслась в обратную сторону — на кухню и застряла в ноутбук какой-то мистической несуразностью: *«Заболеваю... Пустота изводит. Где сердце трепетало — ничего! Тупые мысли гулко хороводят, а с улицы несёт: "Ату... его!"* Закрыв окно, из

*"ящика" химера не унялась, приватно шелестит: про се-  
верного мишку и премьера, что лапу пожимал, пока тот  
спит. Заболеваю... Родины не чую под запахом подмёт-  
ного дерьма! И даже поллитровка не врачует: снару-  
жи — лето, на душе — зима! Кому там виватируют со-  
седи? Который день! Заладился шалман... Ах, бедные по-  
лярные медведи, не отстоять вам сизый океан... Заболе-  
ваю — страсть... За-бо-ле-ва-ю! Любовь и та — устала  
сострадать. Давление — о-го-го, хожу по краю, а выда-  
вят совсем — начну летать. И полечу — на тяговой от-  
рыжке, и коллективный воцарится бред: завоют околь-  
цованные мишки, помашет Умка обречённо вслед...»*

Ну и к чему всё это?

Вернулся в комнату, выключил телевизор — ничего интересного. Обречённо посмотрел на остатки «горюче-го» — нет, не голодный. Накатила волна похмельной усталости — ещё сильнее впечатала в кресло. После Олесиных трогательных забот о диване не хотелось нарушать уютный порядок: девочка всегда застилала постель, когда уходила в общежитие или на учёбу — в любое время суток. Как ворожила: «Берегите наше гнёздышко, дядя Женя, берегите...» Мимоходом прибиралась и на кухне, и в комнате... Но никогда не оставалась. Даже ночью, не смотря на мои протесты, бежала к себе. Я покорно вызывал такси и какое-то время мы кружили по городу, она лежала на моей ладони и молча смотрела в глаза. Потом девушка просила остановиться неподалёку от её общежития — на соседней улице, тайком чмокала меня в щетину

и ускользала. Я ждал sms-ку и уезжал. Так было и сегодня. И сколько так будет? На этот вопрос ни Ленин, ни Ёрка ответа не знают...

Засыпал без претензий к липкому креслу. Петухи в городе не водились (разве что в расчленённом виде), но рассвет пришёл вовремя — за секунду до того, как меня окончательно расплющило о нирвану.

Поначалу ничего особенного не снилось: по маме скучал, по отцу, по брату, детишек бранил за пятёрки — странное дело, у жены прощения просил... — обычно. И вроде простила. Даже проснулся на миг — не поверил. И правильно сделал: прощать уже некого. Уснул. И тут началось...

Сижу в пафосном баре «Мастерская» в Москве — под носом у Лубянки (раньше я здесь частенько околачивался, будучи в командировках). Заведение урчит голодными до креатива музыкантами, лопухими поэтами и курнувшими художниками в реперских шапочках. В другом мире очнулся — некой сепийно-интерьерной вещью в себе. И действительно: смотрюсь неуместно в отстойнике «сопротивления», в наряде «киллера» — белая рубашка, чёрный костюм, чёрное пальто. Футляра из-под альта не хватает, с винтовкой внутри. Настенного творчества не вижу — сырой полумрак, но что-то ловлю в разговорах — неприятное, распотрошённое. И понимаю, что ничего не понимаю. Один молодой пиит говорит другому: «Хлебников — фуфло! Бобэоби — фуфло! Вот Гарик... "свет бес-

помощно обвис на троллейбусных растяжках..."<sup>16</sup> Сила!» Спорно местами, и было бы занятно, не спроси второй: «А кто это, Хлебников?» Мне Мариенгоф нравится... Музыканты жгут. В прямом смысле. Под пьяный ржач в тарелке с разводами кетчупа догорает сидишная обложка какой-то попсы. Разглядел только кудрявые волосы и последние три буквы — «...ёва». Жжёный глянец и кетчуп смердят хуже поэтических инсинуаций. «Русский рок берёт начало в скандинавском фольклоре...» — чокаются «викинги» пузатыми кружками, и бар замирает, слушая их жадные глотки. Мне с моим недвусмысленным опытом столько не выпить. Но... все мы были когда-то сперматозоидами.

Я — динозавр. И мне нравится тщеславное захолустье в центре Москвы, и гостиничный номер здесь же — этажом выше, разрисованный под бордель. Футляр от альта лежит на кровати. Окна смотрят во двор — и как раз напротив неприметного входа в закрытый клуб. Мне всё равно, чем они там занимаются. Поговаривают — жуткими извращениями (хорошо, если только половыми). Ровно в двадцать два ноль-ноль сюда подъедет эскорт — два бронированных джипа и «Мерседес» между ними. Две минуты постоят. Потом охранники возьмут в кольцо Хозяина Жизни, и тот не успеет ничего понять...

Что это? Ритмы несуществующей эпохи? Временной парадокс? Не-е-е-ет. В дальнем углу бара сидит светлая девочка в толстенном свитере до носа, напоминающая Тосю Кислицыну из «Девчат», шепчет стихи Киплинга,

---

<sup>16</sup>Г. Сукачёв «Ночной полёт».

не глядя в книжку, и пьёт мате. А вы говорите: Хлебников «фуфло». Сами вы фуфло, пииты прыщавые.

Из мешка  
На пол рассыпались вещи.  
И я думаю,  
Что мир —  
Только усмешка,  
Что теплится  
На устах повешенного<sup>17</sup>.

Учите матчасть, недоумки! Мечты маленького человека о величии мира намного ярче, чем грёзы великих о небытие. Вроде бы вслух сказал. И стихи вслух? Пииты замерли натуженными мышами. Даже неудобно стало.

— Да расслабьтесь, мальчики, — говорю я. — Последний романтик, недобитый весной, пока ещё жив.

— Вы о ком?

— О Гарики, конечно! Не о Хлебникове же. Тот в серебряном веке скончался.

— В каком?

— Забейте.

— Хорошие стихи.

— Конечно. Это Хлебников.

— Так он же умер...

Был бы стакан — запустил бы. Только не понятно — в чью голову, они вроде хором галиматью отрыгивают. А кофе жалко. Интересно, и почему у меня во сне всег-

---

<sup>17</sup>В. Хлебников.

да напиваться не получается? На равных поговорить не с кем.

— Вы какой-то серьёзный всё время...

— Не серьёзный, а всё время трезвый.

— Так выпейте...

— Не могу. Во сне не наливают.

Наконец разговорились, сдвинули столики. Пииты оказались славными ребятами: немного покуривают, чуть-чуть кумарят, пьют много, но по уму и раздельно. Водка без пива... — это не про них. Стихи пишут тоже раздельно — уже недурственно. Правда, признались, что за «хорошей рифмой» иногда в Интернет ныряют — плохо. Отрубят Интернет — и пи... контркультуре!

— А как же гражданская позиция? — задаю провокационный вопрос после получасовой эстафеты подростковой лирики: «любовь — кровь» и прочие сопли в рублевом виде. — Или хотя бы поза?

— Нормально у нас с позицией, — в унисон отвечают пииты. — И раком не выстроились пока. Почитать?

— Лучше — своими словами...

Первый запрокинул голову, второй — опустил на грудь. Шоу началось. Тося Кислицына бросила Киплинга на стойку и подсела к нам, музыканты «приговорили» очередной диск попсы и соорудили на стыке столов первобытный факел, а бармен налил всем за счёт заведения. И меня не забыл, разумеется, — принесли кофе. Пииты пользовались успехом. Зря я на них.



Эге-гей-столица! —  
постпасторальный кошмар Гиляровского,  
задроченная пробками,  
постными лицами, тщеславием князя московского.  
Эге-гей, провинция, тварью снующая  
по первопрестольной,  
Гуимплена подруга в насмешке  
самодовольной...  
Кому улыбнётся удачей проигранный раунд?  
Вилы закопаны там, где почил андеграунд...

Это — крамола, бунт! Ей богу! Стоило сюда заглянуть. Может быть, так в больном воображении Есенина возникал Чёрный человек, как у этой «гидры» отрастает Совершенное Зло? Головы читают строфы, чередуясь: та, что смотрит в потолок, — подвывает не хуже Беллы Ахмадулиной, а вторая, как бы из-под полы, рубит хлестко и заговорщицки — на манер Вознесенского. Презентуют поэму о Хозяине Жизни, которую написали-таки в соавторстве. Сюжет — не сюжет, слово — не слово... Главный герой — подонок, полюбивший безответно Родину, готовый на всё, чтобы добиться её расположения: он убивает соперников, подкупает детей, дарит дорогую косметику и даже выводит на её прекрасном теле паразитов. А ничего не выходит — Родина брезгует подонками. И тогда он берёт её силой. Разумеется, начиная с Москвы. И тут... пиликают часы — без пяти десять. Вот-вот явится мой клиент. Я тихо раскланиваюсь и поднимаюсь в номер. Тося Кислицына презрительно смотрит мне вслед (Тося, Тося... «Хочу халву ем, хочу — пряники...») Хорошо хоть у поэтов глаза закрыты.

Он вовремя — Хозяин Жизни — Совершенное Зло. Он не изменяет привычкам. Моё окно открыто, в номере — полумрак, в руках — орудие возмездия. Я стою на подоконнике и жду. Пошла вторая минута. Сердце забавляется аритмией, руки дрожат. Я — не профессионал. Отлично! Дуракам везёт... Он выходит из «Мерседеса» — вальяжный и наглый — как всегда — Хозяин моей Жизни. Прикуривает сигарету — я беру смычок. И первые же звуки альтя сливаются с хлопками выстрелов — его охрана недаром ломает бутерброды с икрой. Вариация на тему Бартока (бог его знает, почему Барток — никогда не слышал) умерла не родившись. Зато весь мир через минуту узнает, что черберы Хозяина Жизни «завалили» скрипача... под носом у Лубянки. Такое у нас не прощается...

Редкий случай: проснулся и записал. Эти сны — уникальны: вроде ни о чём, а приятны. Внятностью и героизмом — даром, что виртуальным.

**В** обед ничего не изменилось. Ленин — на месте, а не укатил, к примеру, прогуляться по городу, как статуя из «Града...» Стругацких. Такой вариант, после ночного разговора с вождём и шпионских страстей в логове поэтического подполья, меня бы устроил. И успокоил бы — как реперная точка невозвращения в реальность. Небо зашито рваными облаками и похоже на дырявую армейскую палатку — клочками пробивается солнце. Дождь временами переходит в ощутимо противную изморось: неприятно щекочет шею и забивает водной пылью глаза. Я топчу за-

кисшую сырость хорошими спортивными туфлями и жалею, что не в калошах. Сейчас — в самый раз. На туфли — плевать. Ноги мокрые, боюсь ненароком заболеть и вычеркнуться из жизни на несколько бестолковых дней. С моей предрасположенностью к самолечению можно и месяц проваливаться с туманным диагнозом. Жизнь коротка. Стала ещё короче. Тупая банальность просачивается в мозг — я начинаю расслаиваться. Я боюсь поймать это состояние на улице. Параллельные потоки бессвязных мыслей приводят к дезориентации: и не только в голове, в пространстве тоже. Легко потеряться, а потом обнаружиться в чужом районе, в чужом баре с чужими философствующими собутыльниками. Это опасно. И ни к чему. Многочисленные родственники не знают, где я осел в Воронеже. Убежище в центре — слабая гарантия. Ни работать, ни отдыхать им здесь либо не по нраву, либо не по карману. Но в нашей стране скорее натолкнёшься на близкого человека у чёрта на рогах, нежели там, где обычно встречаются нормальные, достойные люди, приветствующие друг друга рукопожатием. Ни близких, ни достойных — ни слышать, ни видеть — ни сил, ни желания.

Тошно.

Моя психика, оболваненная под игривого пуделька, — кучерява и столь же нелепа. И кто придумал, спрашивается, этим недоразумениям благородную стрижку льва? Царь зверей «в барашек» и с пакостным характером танцующего попрошайки — болезненная утопия больного воображения. Если это — не шут. Если это — не шу-

товская пародия по Фрейдю. Бессознательная и... очаровательная в загадочной непосредственности. Ха! Когда-то и я был кудлатым в восприятии жизни, и чем длиннее отращали неряшливые патлы, тем проще и удивительнее казалась она в своём совершенстве. Не стоило задумываться об уникальности утра, не стоило нагружать рядовой день рутиной, не стоило морочиться вариантами окончания вечера. «Вариативность присутствовала», — уверяю себя. А ночи! Ох этот ненасытный звериный инстинкт! Ах эта не заскорузлая романтика первых! О это мужество жить, как в последний день! Ну чем не лев? А львы-то дряхлеют... Загони в клетку, даже в золотую, даже с видом на родную саванну, корми отборным мясом и приводи лучших самок — душа льва останется мёртвой. Лучшая самка в золотой клетки никогда не заменит убогую львицу на воле, и отборный кусок мяса — хорош, но он подан на вилах, а не добыт... Понял это, но опоздал. Психика кучерявого пуделька со стрижкой льва уже всю виляла хвостом и лебезила перед баранами.

И это было только начало. Душа протестовала против мозговой атаки на быт, на работу, на отдых... — она отчётливо осязала отмирание рецепторов и пыталась реанимировать сосуд, в котором существовала. Тщетно. Философия циника увлекла и возвысила. Я мог писать блестящие материалы о нравственности и морали, втапывая в грязь моралистов. Сломанная карьера почтенного профессора естествознания — на моей совести, как и многих других «нематериальных» деятелей, рискнувших попытать

счастья в политике. Ибо нечего заниматься не своим делом! Мог подвизаться райтер-киллером на выборах — не выбирая «за кого», и доверчивый электорат внимал «честному перу» журналиста без оговорок. Парочка мэров, несколько депутатов различного ранга и даже один губернатор... — все из несостоявшихся — на моей совести. Или наоборот — спас кого-то от дальнейшего морального разложения. Не оценили... Зато я исправно приносил домой деньги, большие деньги, и не требовал отчёта о расходах семейного бюджета. Казалось, наступила свобода, независимость от условностей общества и бытовых проблем. Ан нет! Крах подоспел — окончательно и бескомпромиссно. Теперь уже мозг протестовал против души, зачахшей от одиночества, не понятой и... разучившейся любить. Пришло откровением.

Первый раз я запил по-настоящему — с воем в небо и рытьём земли — в двадцать семь. Страшно в двадцать семь становится циником. В семейной жизни наметилась матовая, но всё же привычка. Можно и к привычке привыкнуть. Перегорел. Снова лебезил. Второй раз накрыло после тридцати и уже не отпускало. Пока не написал «исповедь» опустошённого журналиста. Перечитал. Прослезился. Откровения циничного алкоголика — не более, в предпоследней стадии. Отправил в издательство и забыл. Пресно и прокажённо вернулся к работе — семья хотела кушать. А книга, как ни странно, оказалась востребованной: циники любят и уважают циников. Теперь уже пресмыкался перед своими... Не долго.

Третья волна сокрушила девятым валом в Северном Таиланде, в храме на высоте полутора тысяч метров, купающимся в отрезвляющем воздухе предгорий Гималаев. Здесь я постигал обряд обращения к духам: крутил барабаны, лил масло, курил фимиамы... — всё, как втяхивали гиды олухам вроде меня, и, конечно, загадывал желания. Точнее, одно желание. Меня как молнией садануло, когда я понял, *что именно* хочу от просветлённого Будды помимо туристических впечатлений. «Любви!!!» — возопили примирительно и воспалённый мозг, и утомлённая душа (и можно представить, какой вой раздался бы по рангам наидревнейшей философии мёртвых, будь я в Египте, — из семи оболочек разом!). И это не показалось невинной забавой. Меня захватила идея — новая, страстная, далёкая от пиара и политики: я стал одержимым. Я неистово молил о любви у Стены Плача — так, что ортодоксальные евреи нервно теребили пейсы; бредил в православных и католических храмах — и священники предпочитали не связываться с блаженным; «пафосно» просил милости у Афродиты — и туристы шарахались от моего ошалелого взгляда; изнурял стенаниями бурятских шаманов — о, этим доставалось больше всего, когда я возвращался домой ни с чем. В промежутках меня носило по ночным клубам, барам, музеям, театрам, бардовским и рокерским тусовкам — и Дориан Грей покраснел бы от нравов его последователя. Вместе с портретом.

В какой-то момент устал. Потерял доверие семьи, коллег и даже родителей. В какой-то момент осознал: хочу

«убиваться» водкой — надрывно, самозабвенно, осознанно, без вариантов и иллюзий. Ключевое слово — «убиваться». Красиво и лирично, под стать юношескому максимализму. *«Коль гореть, так уж гореть сгорая...»*<sup>18</sup> — вторили Есенину мои собственные рифмы о том, чего нет и не будет — так я решил. *«Поздравляю себя с удивительно горькой судьбою...»*<sup>19</sup> — жаловался я Бродскому и пил, пил, пил. Мне нравилось. Не водка, конечно, жидковата она. Само осознание того, что догорающая медовая свеча восхитительна, а принятое решение имеет сакральный смысл и неизбежность скорого финала. И это, как ни странно, приносило покой.

Когда же пришла любовь — процесс расслоения оказался необратимым. Настолько, что я искренне испугался за Олесю, — в котором из нас она откопала своего принца?

Обнаружился на краю Обвала, в закате. В кармане надрывается мобильник. В лесу — кукушка. За спиной, со стороны деревни, — собаки. Каким образом оказался в двух часах пути от Воронежа при закрытой переправе — не загадка. Как — загадка. Джинсы чистые, на туфлях — ни комочка грязи. Ни один уважающий себя водитель ни за какие деньги не поедет к Обвалу по размытой дороге. «Land Rover» — и тот встрянет. Деревню-то бояться в слякоть (а до деревни ещё и добраться надо). Лоша-

---

<sup>18</sup>С. Есенин «Видно, так заведено навеки...».

<sup>19</sup>И. Бродский «Неужели не я...».

дью? Огляделся по сторонам. Внизу — обрыв и туманящийся батюшка-Дон. Разве что туда ускакала мифическая лошадка, обманутая ёжиком. Детский анекдот не прибавил настроения. Да и катался я верхом всего пару раз — лет в десять, с дедом.

Кукушка и телефон заткнулись одновременно. Отсчитали что-то около пяти-семи (...ку-ку — бим-бом...). Щедро — для моего образа жизни. Собаки, в ожидании возвращающихся бурёнок, перешли на глухой отрывистый лай. Сторожевое готовится к вечерней раздаче: кормов, новостей, матюков, а то и покрепче чего. Тётка наверняка ещё пластается по хозяйству — своему или Хрёскиному. Делать особо нечего — осень-таки: подоил Зорьку и дальше паялся на волшебные перспективы Родины. Но... что-то подгнило, что-то не так в закромах, где-то доска отошла... — Фрося без работы, что работа без Фроси — утопия.

Дон затягивает зернистым туманом: он уже размыл берега, подножья холмов, неизбежностью ползёт под обвал. Скоро болезненная сумеречная дымка окутает одиночные меловые глыбы и начнёт карабкаться вверх. Я не увижу трепета бездны, как лошадка в том анекдоте. А иначе зачем я здесь? Не ощущаю ни рода, ни племени. Родины нет в понимании Родины: Иркутск — Воронеж, та страна — эта, там я родился — здесь я умру, «и никто не узнает, где могилка ой да моя...»

Сел. Закурил. Свесил ноги с Обвала. Страх высоты? Забыл. Олеся ходила по краю — я закрывал глаза и вытирал потные ладони о траву. Потом привык, позже — на-



учился быть храбрым. Или атрофировался, как человек боящийся, как человек без инстинктов. Теперь ничего не боюсь. Олеса... Вот за кого беспокою. Девочка тоже того — не от мира: ни за себя, ни за других не держится. А за меня — бессмысленно. Утоплю.

Перед тем как сбежать из деревни, я приходил сюда, оставил под одним из меловых булыжников «секретку» (как ребенок, ей-богу): тетрадный листочек в клеточку, вырванный из теткинго талмуда с государственными мыслями... — в гильзе. Стихотворение, написанное по её просьбе о родных просторах, — может быть, лучшее, что написал. Потому как искренне, трезво и благодарно. Проверил — на месте. Перечитал, скомкал, разорвал полосками и бросил в туман. Построчно:

В печали родина тиха — томится родина:  
Покину я не без греха, не без колодины,  
Неся приволий туесок — в ночи украдены;  
И занемее мир-висок от пули-ссадины.  
Не обернулся бы сюда, да делать нечего,  
Жива у Батюшки вода, раны залечит мне.  
Да не придумаю закат в чужой обители,  
Усну под пение цикад я их ревнителем.  
И по рассвету о любви, разбив колодины,  
Я буду слушать визави дыханье родины!

Тщета! Пииты из «Мастерской» хотя бы знают для кого пишут. А мою лирику только коровам жевать. И на здоровье, лишь бы молоко не испортилось... Секретку оставлял для принцессы.

С Олесей мы часто провожали здесь солнышко. И пусть на Обвале захода не видно — он где-то левее, почти за спиной, зато вечерний засыпающий Дон, раскинувшись за ним просторы полей, посадок, разливы цветущих прудов, скромная деревушка в три десятка дворов, принимающая закаты бликами влажных крыш... — картина без всяких условностей. Не нужно гадать, куда уходит светило и чем ты ему не угодил сегодня... Река под Обвалом пересекается на два рукава толстым вытянутым островком, названным почему-то Змеиным. Совсем не по форме. Таких обожравшихся змей не бывает, да и коротковато для пресмыкающегося. Олеся убеждала, что остров хранит немало загадок и наводнён дusernameами, поэтому на него не высаживаются даже рыбаки. Действительно, я ни разу не видел там лодок, но это — явно рыбное место. А однажды девочка показала чудо: после захода солнца очертания острова стали вызывающе контрастными, а лес как будто покрылся чешуёй и засветился мягким сиянием утренней росы. Сотни раз видел Змеиный в разных ракурсах, но ничего подобного не замечал. Глазам не поверил, но факт — упрямо рациональный. Кому ни рассказывал — вежливо удивлялись или грубо крутили пальцем у виска. А когда в запале заявлял, что есть свидетели — снисходительно улыбались. Причуды Олеси знало всё Сторожевое — с детства, а её бабу и вовсе почитали за ворожею.

Как-то девочка напугала полдеревни ночной вылазкой — через всё село в белоснежной сорочке с ромашковым венком на голове при свете луны. Ей было лет десять,

и она очень любила бабушкины байки. Особенно про леших, домовых и русалок. Иванов день запомнился надолго. И если не врут, механизатор Чудаков бросил пить. Со всем... В четырнадцать Олесю потеряла мама (тогда она ещё была жива и не ведала о прожорливой болезни почек). Искали всем миром и нашли... на краю этого самого Обвала, с распростёртыми к Дону руками и распахнутой в небо душой. Первым обнаружил дядя Володя. «Мать его ети, Жень... Понимаешь? Понимаешь, каким свободным человеком растёт эта девочка?» — до самой смерти смаковал, умилялся. Много ещё чего было потом. Купание в лунной дорожке поперёк реки, ночные сборы дурман-травы (что именно здесь называют «дурман-травой» никто определённо не знает), предрассветные разговоры с козами и коровами, ангельское пение по утрам... Куприн в чистом виде. Наслушался я этих рассказов на добрый сборник новелл, стоило однажды взять Олесю за руку на виду у сельчан. И злых, и добрых новелл. Так уж устроена деревенская жизнь: чем хуже реальность, тем ярче мифы.

Мы никогда не говорили здесь о любви, потому что я не говорил о ней вовсе. Любил молчаливо, не решаясь произнести вслух то, что когда-то растратил словами. Боюсь до сих пор. «Да...», «Конечно...», «Ты же знаешь...» — и этого ей было достаточно, чтобы не требовать большего. Она — умница, моя милая отважная принцесса!.. «Дядя Женя, дядя Женя! — балансирует Лесси на краю Обвала в лучах заходящего солнца, весела и проста по-деревенски и суперпозитивна по-городскому. — Смо-

трите! Смотрите! Не это ли наша жизнь?! Может закончиться стремительно и красиво — в полёте или спокойно и разумно — в пути. Назад — через прекрасные поля и горы. Что выбрать, дядя Женья?» Я дрожу от её безумного «позитива» и чуть дыша маню девушку к себе. «Значит, в пути? — уже серьёзно спрашивает Олеся и топит меня в пучине негодующих глаз. — Тогда зачем, скажи, зачем ты ищешь пропасть вокруг себя? Ведь туда могу упасть и я, дядя Женья...» В такие моменты одолевает стыд, самый настоящий, хрестоматийный — с красными ушами и метущимся взглядом. Я прижимаю девушку к себе и нежно перебираю волосы. Чтобы не видеть глаза. Это успокаивает обоих... В другой раз Олеся ни с того ни с сего рассказала историю бабочки. Школьное задание по биологии. «Ей было больно? Безусловно. Она умирала мучительно? Конечно. Я гордилась своей пятёркой? О, ещё как! — грустно рассуждала девочка, глядя вниз. — И мама похвалила, но как-то печально. Бабочка была очень красивой и очень необычной. Такой больше никто не принёс. А вечером бабушка отвела меня сюда, поставила на край и сказала: «Попробуй почувствовать то, что чувствовала убитая бабочка...» Я не помню, что именно я испытала, но горько заплакала. А бабушка улыбнулась. Теперь знаю — мы навсегда припилены здесь, на краю Обвала, чтобы никогда не научиться летать, а только стремиться...»

Зажужжала sms-ка. Вывела из оцепенения. Я посмотрел на часы — без четверти девять. Олеся. Наверняка схо-

дит с ума. В сердце кольнуло — больно обижать эту девочку, даже по мелочам. Перелистал sms-ки, и сердце сужилось вовсе:

«Я иду... Любите? ☺»

«Ау, дядя Женья?»

«Я у Сонаты... ☺»

«Что случилось???? ☹»

«Вы не могли меня бросить! ☹»

«Не верю! Не может быть...»

«Я люблю вас, дядя Женья! Ну же!!!! ☹»

«Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста...»

«Женечка, ну что происходит?»

«Так нельзя, так нельзя! ☹»

«Дядя Женья, ответьте!»

«Что я такого натворила????!»

«Почему? ☹»

Прервалась. И страшно представить, о чём эти два-три часа думала Олеся.

«Любите? ☺»

Это — последняя. Долька отчаяния.

«Да».

Я облегчённо вздохнул и, не оглядываясь на Обвал, побрёл к другой крайности — в Сторожевое. К Серому. У него есть отчим, у отчима — трактор, в тракторе всегда — заначка самогона. До трассы прорвёмся, а там...

Смотреть на жизнь по-трезвому — невыносимо одиноко. Так хоть собеседники появляются. Да ещё какие!

Певучие. До трассы ехали весело, пытаюсь переорать друг друга, дизель и «Дисотеку Аварию». Старенький сидишник Серого спотыкался и хрипел: «Свет далёких планет нас не манит по ночам...», и мы завывали на всю округу: «А-а-а может, нам только снится...» Куда могли — туда и вставляли, что знали, то и пели. Зацепило. Других песен не помню. На трассе снова расстались друзьями, выпив напоследок за... красивую жизнь!

**В** четвёртом часу ночи Воронеж встречает «ножом». Олеся приютилась в нашей конспиративной квартире (так мы договорились sms-ками) — запасной ключ, по старинке, обитал у соседей. Кто на него право имеет — знают. Хорошие люди, понятливые. Вроде бы всё хорошо. Но резануло. Как-то по-настоящему, физиологически мрачно. Одно дело изобретать виртуальную боль, наслаждаться видениями умирающего имярека на краю света — не понятого и отринутого, другое — сидеть в машине с потухшими глазами и пугать перекошенным ртом водителя. Не ожидал тот подвоха. Видно. По точно такому же лицу, на секунду обращённому назад. Смешно. Я задыхаюсь ещё больше. Я тоже не ожидал. Водитель резко съезжает на обочину и суетливо достаёт аптечку...

Под языком — две таблетки нитроглицерина. Откуда знает — не понятно. Держит за руку, считает пульс. Минута, две, пять... Кукушка и мобильник не набрехали: оживаю, не выходя из сознания. Водитель оживает, приходя в сознание. Повезло. Кому больше — тоже не ясно.

— Спасибо, — хриплю, — отпустило... Ух... Что это было?

— Семь лет на «скорой» это было, урод!

Обиделся что ли?

— И вам — счастья, уважаемый... — снова смешно, жизнерадостно так. — Я обязан вам, господин, приказывайте...

— Ну не сука?! — качает головой мужик. — Ты же чуть копыта не откинул, алкаш! Второй бы труп за год...

— А первый? — неожиданный поворот.

— Тёшу на кладбище вёз...

— Живую?

— Дебил! Мертвее некуда. Похоронщики цены ломают, вот и пришлось — на своём горбу, в «Рафике».

— Оригинально... А вы добрый. Другие бы из морга не забирали или на обочине вытряхнули.

— Хорош зубоскалить, ирод! Куда тебя? На Ленина или всё же в больницу?... Живой?

— Скажу «мёртвый» — ещё к тёще свезёшь... — оскорбился я по-настоящему. — Шуток он не понимает. А правда, ну — окочурься я, и что бы ты делал? Поимел бы сначала с покойничка, это понятно. Кстати, деньги в заднем кармане — так, на всякий случай. А если не хватит...

— Вот же урод... — индифферентно осаживает водителя. — На Ленина, значит...

— На Ленина... К Ленину... Бог, спасибо тебе... — это спонтанно.

Мужика передёрнуло: от негодования, казалось, вылетят стёкла. Но промолчал, скрипнул зубами и осторожно выехал на дорогу. Умница, чувствуется школа советской неотложки. Не обижайся, брат. Я благодарил, если ты не заметил, я не просил. И на этот раз действительно обращался к Богу, а не к его ощущению.

...Я вообще часто разговариваю с Богом. Не скажу, что любимчик. Скорее оболтус, бахвалящийся высокими связями, ну и чтобы не ударить в грязь лицом в компании интеллектуалов — упражняющийся в монологах. В богословских, разумеется. И, странное дело, Бог меня терпит. И я терплю его земное величие, и трепещу, как червь, буравящий самое зелёное яблоко на самой макушке одинокого дерева; как улитка, принимающая туман у подножия Фудзиямы за облака; как неопытный вор, крадущийся от порога отчего дома к соседям. Нездоровые ассоциации. Однажды под рюмку я рассказал о них моему ныне покойному приятелю — вечно депрессивному рок-музыканту, безуспешно пытавшемуся соскочить с иглы с помощью традиционной наркоманской иллюзии — через алкоголь. Он от души посмеялся (можно сказать — поржал, что было редкостью), а потом неожиданно выдал цитату из ненавистного ему «Ундервуда»: «Нельзя заходить в спальню к Богу, даже если его там нет...» Тогда я не очень понял. Очень понимаю сейчас.

Я, например, увлечённо и стойко зарываюсь в «Откровения Иоанна Богослова», если нужно кому-нибудь дока-



зять всю ничтожность нашего сосуществования (ну не на своём же примере). А если оппонент ещё и глупее меня хоть на грамм, а слушатели глупее оппонента на все десять и почитают в нём гуру, то парочка избитых цитат капитально снижает мои репутационные риски и повышает самооценку. «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего», — как правило, сражает наповал. Соперник позорно бежит, а я вздыхаю с облегчением: читать-то читал, но дальше этой строфы «Апокалипсис» не увидел. Поэтому до сих пор завидую подкованным богословам: у них святы каноны в голове — покрепче закона Божия в сердце. И это не плохо, очень даже не плохо: кому-то нужно организовать стадо в скорбный час, когда пастухов призовут к ответу. Я же — двоечник в точных науках — комплексую: а вдруг начнётся, а я без теории? Элементарное «Отче наш...» не усвоил (во всяком случае, на автомате не выйдет).

Позор, конечно, для человека, считающего себя образованным, ещё и с претензией на интеллигентность. Позор для гуманитария, повсеместно заменяющего маты на синонимы и расставляющего ударения в диалектах. Но такова моя духовная «практика» — отсебятина, что списанные поперёк конспекты. Единственная самопроизвольная молитва, рождённая в прошлой жизни у трапа самолёта, к которой я всё ещё отношусь более-менее серьёзно, звучит, как заклиние: «Господи, спаси и сохрани мою семью, мою жену, деток, моих родителей, родственников, моих друзей

и друзей их друзей, всех, кого я знаю и мог бы знать, и кого мельком встречаю на своём пути. А мне оставь, что останется: толику надежды и толику веры в Тебя». Гордыня. Самоуничтожение. В разных вариациях, но всегда одно и то же — выпендриться, показать, что всевышняя милость интересует меньше всего. Вроде вот я какой: червь, улитка, вор. А знал бы ценность — просил бы больше. Не зря же Достоевский причту выдумал: если и впрямь падать, так хоть за луковку зацепиться. Простая теория.

А на практике... Дома пылится неплохая коллекция Библий: они стоят, лежат открытыми или закрытыми у всех на виду, вызывая для редких гостей, интерьерно. Вроде бы — атмосфера. По сути — классические обереги от оборотней, от неудач — арсенал суеверий (точно липовый крест в руках голливудского экзорциста). Я читаю, конечно, вникаю или пытаюсь вникать. Но не когда плохо или хорошо, как заведено у христиан, совсем наоборот: я вспоминаю о Евангелии, когда ничего не происходит. То есть вообще ничего — нейтралка. Читаю, читаю, и вот тогда уже становится «как-то». И чаще всего — отвратно. Слишком велико ощущение бездны между мной и Благодатью. Или того хуже. От осознания конечности и бесперспективности рая ловлю себя на безумной зависти грешникам: их вечное стремление к свету, к движению, к покаянию... Кто знает, что более ценно: забвение блаженных или память проклятых? И кто знает, почему в наспех собранной дорожной сумке помимо зубной щётки, ноутбука и скромной кучки белья обнаружилась и

старенькая потрёпанная Библия в мягкой красной обложке — та самая, что когда-то спасла мне жизнь? Теперь она в Сторожевом под тетушкиной божничкой, а я, беззащитный и беззаботный, жутко боюсь наказания.

Боюсь. Ведь я — не исключение. Все же дети боятся строгости папы. А что в сущности меняется с возрастом? Забота родителей уступает место самоконтролю, вездливому чувству ответственности перед семьей, работой, друзьями, просто прохожими и даже перед безрассудной любовью. И оглянуться-то не на кого, некого догонять, некому поплакаться и бояться, по большому счету — некого. Вот и приходится возводить очи к небу и вопрошать риторически: от чего же всё скверное рядом (и не только с тобой, но и с близкими), а всё хорошее, доброе, вечное так далеко и непросто, эгоистично? Стоит немного подумать — крах: жизнь перестаёт быть бессмысленной штукой, лёгкой, забавной и простой в обращении. Ты начинаешь анализировать грехи, включая и те, которые не совершал, ты стыдишься себя, презираешь. И не столько из-за боязни быть наказанным, сколько от бестолковости невинных пороков, занимающих уйму времени: Интернет, манящий распутством и социальными сетями, ночные клубы — женщины, водка, где-то скурвился, где-то ошибся... — как бы не тяжкие, всё как у всех. Но чувствуешь, чувствуешь, как жизнь просачивается сквозь пальцы, бегающие по клавиатуре, осязающие плоть или сжимающие стакан. И сделаешь гадость, и перекрестишься мимоходом, точно оправишься, и самому противно от

такого неуважения к Родителю... Но раз перекрестишься (после того как), второй, третий — не отпустило, контрольный — глядишь полегчало, вроде как в церковь сходил. (Только не хожу я в церкви, и знать не знаю, каково оно — ощущение храма. Ни в голове, ни в сердце — ничего. Та же нейтралка. Смотришь на золотые купола издали, на кресты, на фрески и цитируешь тупо, цитируешь — о, если бы я был холоден или горяч! И всплакнуть бы, да нечем: все эмоции маргинальные хеппи-энды высосали. Вот что это?! Любить хеппи-энды и не понимать Бога...)

Я знаю, беды любой религии начинаются с банального неуважения к жизни. Это когда разумная тварь божья перестаёт ощущать себя человеком или чем-то созданным во имя чего-то. Как я, например, перестающий ценить жизнь то ли от усталости, то ли по глупости. Вроде легко сказано, а вдуматься... Ведь страшно это — устать жить. Не от разочарования, не от любви несчастной, не от боли физической или душевной — это запрограммировано, это есть у каждого. Хуже. От нейтралки тошной, от теплокровности, от ощущения возможной старости в тапочках на босую ногу, от перспективы безмятежной смерти в кругу любящих и уважающих тебя людей. Неужели это и есть предел мечтаний человека? Человека... Иногда мне хочется быть животным, которому другое животное внезапно оторвёт голову. Прости, Господи, это опять о смыслах. Как сказал бы мой ныне покойный приятель — о существе.

Помню, однажды мы вырвались на природу с ним: рок-музыкант с акустикой и грибами, и я с набором неза-

тейливых песен и водкой. Мы много пили (закусывая чем ни попадя) на берегу безмолвной реки, много пели — каждый своё. И вот когда наступила кондиция — когда звёзды Большой Медведицы отразилась на чёрной глади медведем, а разбросанные угли костра превратились в созвездия Южного полушария, мой товарищ изрёк сам себе:

— Посмотри же вокруг. Посмотри... Неужели не видно — насколько всё это условно? Телевизор (переносной плеер шептал в палатке), вода, лес и даже небо с замирающей вечностью. Неужели не видно, насколько условен мир, который мы воспринимаем всё чаще с болью и реже — с радостью эфемерной? Неужели... Там, и только там истинная жизнь, куда не проникнуть ни взгляду, ни мечте...

— А если здесь? Если ты ошибаешься? — спросил я осторожно того, кто почти стал моим другом.

— О... Тогда это — самая досадная ошибка Бога! И уж лучше бы он пропустил шестой день...

Через месяц приятель погиб от передозировки, не успев ни креститься, ни исповедоваться, ни причаститься, ни проникнуть куда-то ни мечтой, ни взглядом. И теперь, думая о Боге, я не могу не думать о нём: постиг ли он тайну тайн или ждёт меня, чтобы вцепиться в ноги, когда ангел протянет луковку грешнику. А других смыслов как будто и нет. И в спальню к Богу — не по-христиански...

Оговорённые полторы тысячи спаситель взял, от двух с половиной (сколько наскреблось за реанимацию «уро-

да») — отказался. Наотрез и брезгливо. Либо честный, либо гордый, либо — сам урод. По жизни. Я бы тоже отказался. Родственные души, однако.

— А вот ты бы ещё и поторговался, — обратился я к Владимиру Ильичу с лёгким реверансом, — и правильно сделал бы. Революция... Большие расходы — большая ответственность...

— Дядя Женья!!!

Олеся сидела на корточках в дверях подъезда в жёлтом махровом халатике и домашних тапочках, несчастная и зарёванная, дрожа от холода и обиды. Руки прижаты к груди, волосы растрёпаны, как у той самой брошенной куклы. И два бледных пятна в забродившем мраке — две милых озябших коленки. Секунду назад вылупившийся цыплёнок. Такой я и запомнил свою ненаглядную принцессу Лесси — вырванной из облаков и надломленной.

Что было после — не имело значения... Разве что... Под натиском оппозиции пал четвертый по значимости город Иркутской области — Ангарск: из пятнадцати мест в парламенте одиннадцать получили коммунисты. И здесь после моего отъезда ничего не изменилось — люди не перестали сходить с ума...

## **С. Москва**

Сбылась мечта идиота — я в тюрьме. Как самый настоящий политзаключённый. Узник совести... и полный мандюк (как не преминул бы уточнить Ёрка), загремев-

ший на пятнадцать суток только за то, что не в том месте и не в то время крикнул: «Путина — в студию!» А в солидарном хоре митингующих бездельников как-то само собой приключилось неважное: «...в отставку!» Прикололся, называется. Теперь вкушаю баланду и смакую событие — когда ещё в тюрьме пострадать доведётся! Хотя за что-нибудь. Бесплатный экстрим с патриотикой в виде приправы. Пусть и не самая лучшая специя — но смакую.

...Чуть в сторонке от оцепления скучает чрезвычайно подкованный в праве ущербных представительный мент в усах и в лихой каракулевой шапке, обладающий, вероятно, и музыкальным слухом — он безошибочно выделяет мой сиплый голос в нарастающем гомоне протестующих (лица многих, как у бедуинов, по глаза укутаны чёрными и красными повязками) и уже с высоты матёрого психолога придаёт ему соответствующую жандармскую окраску:

— Вы свергаете власть, гражданин... — то ли вопрос, то ли утверждение, достаточно безобидное и вдумчиво-ленивое.

— Нет, — говорю миролюбиво-расслабленно, — мимоходом я (что вообще-то соответствует действительности). Решил вот поразмыслить всеу — чем нынче промышляют у парадного подъезда...

— Хамите, гражданин... — ласково так, почти уговаривает: — Пройдёмте?

— Да упаси господь! — отвечаю. — Куда мне с вами идти, товарищ? И отчего мне хамить? Маску даже не одел,

добродушия своего не скрываю. Вот и вы без маски. Не боитесь же заразиться от меня сочувствием... — покурился на свою голову.

— Это — антиконституционный призыв к свержению власти! — неожиданно поставленным голосом рывкает подполковник, перекрывая скандирование толпы, и я вздрагиваю от незапланированного подвоха.

Тяжёлый случай, со школьной скамьи запущенный. Ну как иметь дело с блестящим воспитателем отличников военно-политической подготовки и безнадёжным двоечником по русскому языку и литературе? И всё же пытаюсь:

— А разве есть варианты призывать конституционно к свержению...

То ли шутка не удалась, то ли с юмором плохо. Свирепость подполковника не уступает раненому вепрю. Его студенистые щёки слегка вибрируют и покрываются болезненными пунцовыми прожилками. «Пьёт...» — ставлю и я свой диагноз, и в этот же миг «скованные цепью» двигают на толпу во всеоружии: дубинки, наручники и главный аргумент — матюгальники. Выглядит вполне демократично. Но неизвестно, на что больше работает казённая фраза «Ваш митинг — несанкционирован!»: страшает собравшихся или подбадривает органы, гм... власти? В наэлектризованном воздухе пахнет девяносто первым. А на ум почему-то приходит тридцать седьмой. Санкция! Жуткому «словечку в шинели» тщедушные старички-коммунисты и каким-то образом затесавшиеся в их ряды крепыши-нацболы могли бы противопоста-



вить разве что красные да чёрные знамёна и партийную прессу... Но нацболы — провокаторы. Стоявший рядом со мной дотошный «полкан» покачнулся и схватился за лоб, рядом плюхнулась шипящая банка пива, следом — модная шапка, почти генеральская, из-под пальцев на усы живенько потекла струйка крови. Первой крови. Сигнал. Цепочка серых солдатиков рассредоточилась с поднятыми дубинками. Они крутят их над своими головами и с воображаемым свистом опускают на чужие головы. И стремительностью похожи на пешую кавалерию. Хотя что-то в этой стране научились делать вразумительно. Я был ближе всех, и в глазах у меня выключилось раньше остальных. Погасло моё солнышко...

Но мечта сбылась... какой-то далёкой от идеала мечтой. Вонючей, бескровной, куцей, антисанитарной, кашляющей, лексически бедной и фонетически грубой, но дико позитивной в ущербности и охренительно светлой в закономерности: сколько верёвочке ни виться... Не «одиночка» совсем со стопочкой книг у изголовья ржавой кровати и с узким окошечком в небо — к сантиментальной свободе, а чахоточный тройник<sup>20</sup> на семь нормативно вмещаемых человек с трёхъярусными шконками. Жизненное пространство ограничено ядрёным воздухом, в котором вязнешь, как муха в киселе, и нелепо огромным выщербленным столом посередине — на добрую четверть камеры. В этой худшей вариации коммуны — с журчащей па-

---

<sup>20</sup>Тройник (жарг.) — название камеры.

рашей в углу и массивной решёткой под облупившимся потолком — нас набралось двенадцать. Как апостолов. Ароматы совсем не революционные (опять же в представлении перезрелого максималиста с чемоданом мемуаристики) — бравенько так смердит въевшимся потом, носками и копчёной колбасой. Ну с продуктами ещё куда ни шло. С носками — совсем плохо. Они торчат из шконок, над шконками, из-под шконок, дырявые, штопаные, полосатые, зелёные, чёрные, с растопыренными пальцами и робко сжатыми в «кулачок». Проклятие какое-то, а не революция!

Впрочем, я уже осознал, что значит оставаться в тюрьме умеренным радикалом: первые сутки прокантовался в общей камере-муравейнике на нарах с бомжами, алкоголиками, наркоманами, упырями-переростками, кого-то ограбившими, кому-то что-то сломавшими, и товарищами по несчастью — бритоголовыми нацболами (суки, а не товарищи). Там разило ещё и блевотиной, мочой, хлоркой и почему-то спермой. Серый, наверное, оценил бы «романтику». Но я не роптал. Я был настолько «по-доброму» ошарашен, что меня, вероятно, приняли за пикирующего идиота, а потому не донимали и на итальянский костюм не покушались. Почему вскоре перевели на «приличную хату» — и это понятно: разглядели корочки. Удостоверение помощника депутата Госдумы имелось. Но по той же причине и «закрыли», а не отпустили сразу: «работодатель» не вовремя оказался в оппозиции. Жёлтая пресса предъявит обществу и меня — тёпленького, и его — красненького.

Памятуя тюремные страшилки и злобные советы анекдотов, с порога хотел тупо влить: «Привет, козлы!»; но присмотрелся: люди собрались приличные и не настолько дурно пахнущие. Даже свой Василий Алибабаевич с унылой восточной физиономией взирав с верхнего яруса зенитами Диогена: «Человек ли пришёл?» Человек! Представился тем, кто есть, — журналистом. Для пущей важности нагнал диссидентской пурги. У Василия Алибабаевича немного округлились глаза, а у блатных оживились фантазии: рецидивисты охотно пользуются услугами четвёртой власти, дабы облапошить первые три. Их криминальные опусы я воспринимал с уркаганской ухмылкой (жаль, фиксы не имелось). Кое-что записывал, чем снижал недюжий авторитет и уважение: пишу быстро, не глядя и без ошибок. Интересно.

Один бывалый, например, оказался в некотором роде коллегой — помощником депутата какого-то уральского захолустья. В Москву приехал на стрелку таких же помощников — «политической грамоте обучаться». Так и сказал, ей-богу! Замели случайно: в свободное от общественной нагрузки время где-то что-то стащил, не удержался. Потомок Шуры Балаганова, не иначе. Остальная часть контингента — менее романтична. Парочка мужичков интеллигентного вида. Один — проворовавший-ся финансист из рейдерской фирмочки (свои же и сдали за процент ментовке). Второй — уникум, умудрившийся под видом репетитора английского языка подчистую обобрать несколько приличных семей. Поймали «гурмана»

на любви к искусству: из наиболее приглянувшихся картин, икон, фарфоровых ваз и даже коллекционного оружия он сотворил на даче небольшой частный музей. Там и повязали в гармонии с прекрасным, по наводке соседей: не пошла им духовная пища. Трое угрюмых — стажёры уголовного мира: крепкие инфантильные парни, практиковавшие по старинке рэкет, — банальные вымогатели со сбитыми кулаками и лбами в гармошку. Эти держались особняком от интеллектуальных разминок. Василий Алибабаевич — вообще не пойми кто. Но, судя по всему, здесь ему хорошо, тепло и уютно. А командовал хатой отщепенцев некто Горе: пять или шесть ходок за плечами и храм Василия Блаженного — на плечах. За четырнадцать дней я не услышал от этого типа ни слова, зато окружающие хорошо понимали смысл его существования, мысли в глазах и язык жестов. Лично у меня он ни симпатий, ни антипатий не вызывал, но бледно-синие печатки коронованного вора на грубых волосатых пальцах — смотрелись уважительно. Демонстративно и честно. Наши политики предпочитают полировать ногти... Одним словом, дружная джентльменская семья без особой удачи. Хотя... Со шконкой мне повезло — не блатной этаж, конечно, но и не пентхаус, не особо почитаемый в тюремном быте. Приличный бельэтаж у стеночки с видом на облака в «крестики-нолики» — так я развлекался с оконной решёткой, воображая самую никчёмную забаву человечества.

По большому счёту, «крестики-нолики» — игра бездельников, лишённых воображения. При относительно равном IQ сторон удача нереальна, а проигрыш абсурден — нелепица для нормальных людей. Но если пустые занятия питают скуку или замкнутое пространство, то волей-неволей начинаешь верить в возможность победы. Не важно, играешь ты сам с собой или с соперником — маниакальное стремление к результату превращается в творчество. Моих учителей раздражали «грязные» тетрадки — последние листы и обложки, испещрённые «решётками»: по количеству перечёркнутых знаков родители судили об увлекательности или плотности того или иного предмета. В седьмом классе я терпеть не мог химию, и сосед по парте подобрался соответствующий; двумя классами ранее недолюбливал геометрию и алгебру, отчего «нолики» легко превращались в единички. Зато гуманитарные дисциплины «разрисовывались» исключительно по теории вероятности — морским боем.

Другая странность забавы — её возрастная миграция. В начальной школе она захватывала новизной и превосходством, но стоило кому-то нарваться на систему — интерес пропадал (это не вражеских солдатиков расстреливать с максимальными потерями «наших» исключительно от вредности). В старших классах, понятно, игра возникала эпизодически и не по интеллектуальным соображениям — скорее как приложение к паузам. С двадцати до тридцати я не вспоминал ни о «крестиках», ни о «ноликах» вовсе — жизнь была ключом, и проигрывать в мело-

чах или останавливаться на ничьей казалось, по меньшей мере, свинством. Да и грандиозностей возникало столько, что и Манилов бы не осилил, даже в прожектах... А дальше в моих записных книжках, ежедневниках, дневниках и просто на клочках бумаги всё чаще мелькают злополучные «крестики». Рядом — недописанное, недосказанное, брошенное, вычеркнутое. В общем, типично. Решётки начинаются там, где заканчивается воображение — игра с самим с собой бесперспективна, как и сама игра. Вырваться за её пределы — уже подвиг, а в тюрьме — свобода. Или «ничейная смерть» (есть такое понятие в логических забавах) — тупик, не всегда оправданный в обществе.

Как-то меня попросили сделать небольшой репортаж из зала суда. На скамье — плюгавая, тшедушная тварь: педофил, убийца и... примерный семьянин, каких много — неказистый потасканный мужичок под полтинник, метр шестьдесят с кепкой. Пожизненный срок обеспечен. Если доживёт. Адвокат мямлит заготовленную речь так, словно стирает плевок с физиономии, в зал не смотрит — не к кому обращаться. Там — раздавленные горем отцы. Матери дома или на кладбище: они не в состоянии видеть глаза зверя и не имеют возможности выцарапать их. Прокурор сочувствует защите — обвинению позволено не скрывать ненависть. Судья слушает с явным отвращением — в душе он уже вынес приговор. Меня раздирают противоречивые чувства — вины и гадливости. Я попал сюда по недоразумению: заболел наш «криминолог», внештатники разбежались и больше под рукой никого не оказалось.

Я — опытный политический обозреватель, недавно подаривший газете скандальный «слив» о хищениях во внебюджетных фондах, — в ступоре. Я смотрю на недочеловека и понимаю: столкнись я с ним на улице, наступи на ногу в автобусе — не распознал бы, извинился бы и пошёл прочь своей дорогой. Ведь таких миллионы — невзрачных, больных, озлобленных, ни на что не претендующих граждан, коптящих небо за ширмами наших суждений. И мы ничего не знаем о них: ни о повадках, ни о среде обитания. Мы просто привыкли жить рядом с серостью, потому что сами далеко не светлы. Мы играем с ними в «крестики-нолики» и узнаём о результатах из криминальных хроник. Мы — они — они — мы — загадки параллельных эволюций... Зверь затравленно зыркает по сторонам, натывается на меня, и я с ужасом узнаю этот взгляд — настолько он внятен и омерзителен за флажками: так блудливо и отчаянно мечутся лицемеры, застигнутые врасплох — антигерои моих репортажей. Скверно. Теперь я буду подозревать каждого второго в педофилии, а каждый третий может оказаться убийцей... Последнее слово подсудимого шокирует даже адвоката: «Бессмысленно наказывать плоть, мой дух будет снова и снова совершать эти преступления...» Более профессиональные в теме коллеги фиксируют: зверь пытается расторгнуть психушку. Меня же одолевает бешенство: тварь и в тюрьме сохранит извращённую свободу, ей не нужно бродить по улицам в поисках жертвы — воображение, увы, не для избранных... Редактору сдаю полсотни строк. Констата-

ция факта и комментариев прокурора: «Обвинение полностью удовлетворено решением суда...» Я — нет. Я жалею, что ввели мораторий на смертную казнь. Такое нужно расстреливать. А иначе — ни победителей, ни побеждённых — каждый остаётся при своём мнении и с обоюдной ненавистью. «Ничейная смерть» — как это удобно для гуманного социума.

Моё заключение не столь ужасно, чтобы делать из него трагедию. Я — не маньяк, не убийца, не вор, и вообще не считаю себя виноватым — натурально пострадал за свободу слова. Вылетела глупость попойкой-матерщинником — сиди. Значит, недемократичная глупость вылетела. А любая недемократичная глупость в нашем государстве — не политкорректна, читай — преступление (а за базар, как говорится, отвечать надо). Но по большому счёту, нет никакой разницы в тюремных стенах — кто за что отвечает: был бы человек подходящий — наказание найдётся. А уж зеки сами определяют место в уголовной иерархии и прокурора не спросят. Единственное, что останется неподсудным — воображение, самый исключительный подарок, на который сподобился Бог.

О, эта потрясающая возможность бежать из одной реальности в другую — быть скованным и бежать. Здесь тыловишь блох и воротишь нос от тюремной баланды, чувствуя себя узником совести на полставки, а там: водка — мартини — «взболтать, но не смешивать», крутобёдрая связная и бессмертный эпос неуловимого агента, спасающего мир. Да бог с ним с агентом, достаточно водки и фар-



та. Здесь ты воспитываешь детей, строишь дом и ладишь карьеру, собачишься с женой по мелочам (столько лет прожили вместе, отчего ж не пособачиться), просишь прощения и умиляешься совместной благообразной жизни, возможно, даже благочестивой и богоугодной; в глазах общественности ты — пример, тебе льстит, когда кто-то громко и внятно просит совета (но терпеть не можешь общения тет-а-тет); с друзьями — хам и балагур, и у тебя немного друзей — ты просто не любишь чьего-то превосходства. А там... Твоя вселенная, твоя долина удовольствий, твоя карма у подножья священной горы; там — месть графа Монте-Кристо и все несовершенные тобой подвиги, и даже смерть героя, увековеченная в обелиске. А главное... там — она: единственная и невозможная в твоей эгоистичной реальности. Та, которую вырвать из иллюзий, что достать звезду с неба. Неосуществимо? Да полноте! В детстве ты летал в космос и бился с воображаемыми великанами. Что здесь такого? Бежать, быть скованным и бежать. К ней, через решётки и быт, порицания и ненависть. Бежать и научиться хотя бы с ней оставаться собой. Трудно? Брось! Не более, чем любить. Твои мысли — только твои, как и спасение души — субъективно. И никто не имеет права на твоё и её пространство, созданное вне свободы. Нужно просто научиться быть рядом, и всё получится...

Ведь потом, когда ты начнёшь умирать (а ты обязательно начнёшь умирать, не сразу, но ты почувствуешь, как это страшно), и если позволит разум подвести итог, —

ничего из бренного ты не вспомнишь. Ни лица детей: они не пригодятся на том свете, но ты унесёшь с собой их младенческие крики и первые слова, их первые чувственные переживания и вот эту — первую настоящую боль. Ни запах жены: разве ты будешь думать на смертном одре о безумном сексе и прекрасном теле студентки-второкурсницы или о нелепом букетике первых подснежников? Да нет же! Ты умрёшь с её именем на устах и с той нежностью, с которой мог произносить это имя лишь ты. А мечта... Она явится последней, и тебя похоронят с ней. В голове. И трупные черви поразятся твоему воображению. А дальше — не важно: вознесётся ли душа в рай, или будет втоптана в ад — твои фантазии вряд ли оставят что-то стоящее за пределами решётки. Они разделят твою участь — кем бы ты ни был и где бы ты ни был: и там, где испрошены все мечты и устремления бессмысленны, и там, где игра в «крестики-нолики» обретает смысл.

Так что ты ответишь?

**Быть.**

Быть скованным и бежать...

**И** всё же позитивный момент заключения — не только в иллюзиях, это ещё и возможность мыслить на перспективу, а не перспективно. Думаешь не как сбежать, например, а как не попасть обратно. Я уже зарекался и больше в тюрьму не хочу. Пятнадцать суток — не трагедия, в конце концов, но и не лучший способ кодировки от крамоль-

ных мыслей. Первые пять дней я страдал бессонницей, на час-полтора отключаясь к рассвету (чтобы не окунуться в морозные кошмары), а утром, понятно, спать не давали — режим. Не помогали и прогулки, а общественно-полезные работы (как хулигану-экстремисту) именно для этой камеры были противопоказаны. Надзиратель и тот забеспокоился, предложил мне за отдельную плату мой же мобильник. Отказался — водку он не заменит, а говорить — не с кем. Вертухай огорчился — такса за такую услугу до пятнадцати штук доходит. В моём случае — штука за день. Вторую пятидневку уже не мучился, научившись правильно чифирить и курить «радостные» сигаретки Василия Алибабаевича. Как сюда попадала травка — в подробности не вдавался. Да и не пахло травкой: какой-то приятный вишнёвый аромат, дед Ёрка таким самосадам дымил. А к последнему звонку опять понесло... Попытка обыграть самого себя в крестики-нолики вызвала буйную истерику и чуть не закончилась потасовкой с коллегой (помощником депутата) — вовремя скрутили сокамерники, не дали в карцер «упаковать». А зря. На следующий день я разбил о стену выдавший виды китайский транзистор, донёсший с родины очередную галиматью: «Председатель областной избирательной комиссии подала в отставку...» — ну это ладно, закономерно; «В военном городке Нижнеудинска возвращена на место голова памятнику Владимиру Ленину, которую вандалы оторвали во время ноябрьских праздников...» — а это уже ни в какие ворота. Голову я тут же обнаружил на плечах одного из угрюмых

рэкети́ров (кстати, ему и принадлежал убитый приёмник), и решил постоять за вождя. И не то чтобы идейно — за историю оскорбился. Ну и знакомый всё-таки, по Воро-нежу. Что было дальше — сложно. Мягко говоря — оби-делся рэкети́р... Но это — мелочи. Хуже всего было то, что волшебная чудо-трава Василия Алибабаевича боль-ше не «забирала», наоборот — очищала мозги от светлых воспоминаний и расфасовывала по извилинам наиболее мрачные: для быстрого доступа. Я знал, что за этим по-следует, и внутренне готовился к худшему (только бы не убить кого, Господи, только бы не убить... да и в заложни-ки брать не стоит...).

— Странный ты человек, Василий Алибабаевич!

Мы курим с узбеком где-то над тюремными крыша-ми, сидя на облаке, зацепившись одним краем за антенну «закопанного робота»<sup>21</sup> в Калининграде, другим — за ма-яки двадцатипятиэтажки по улице Фастовской<sup>22</sup> Владиво-стока; длинное облако — призрачно-серое, перистое, пру-жинистое, как батут; тут и там из него торчат радиотранс-ляционные вышки, жирафыи шеи высоченных строитель-ных кранов, двуглавые орлы и звёзды.

— Ну кто сейчас бензин ослиной мочой разбавля-ет? Вокруг такие возможности! Врежься на халяву в тру-бу и через месяц — миллионер! Пока обнаружат... Суд

---

<sup>21</sup>Народное название Дома советов в Калининграде — считается главным «долгостроем» города и самым высоким зданием.

<sup>22</sup>Считается самым высоким зданием Владивостока.

да дело... А миллионеров не судят... Можно и мочой, конечно. Но тогда нужно очень много мочи. С трёхлитровой банкой в миллионеры не ходят, лишь на анализы... Где ты столько ослов наберёшь, дружище, чтобы хоть четверть цистерны наполнили?

Алибабаевич улыбается широченной азиатской улыбкой — жемчужными зубами из-под лоснящихся смоляных усов и чертовски напоминает моего друга Артура, осевшего где-то под Рязанью. Его голые волосатые ноги свешиваются с облака: он почему-то в расшитом золотом шёлковом халате и в остроносых шлёпанцах из парчи. На голове, конечно же, тюбетейка, усыпанная бисером, — агатовая, в тон одежде и глазам. Ему хорошо. Он как родился здесь — на краю свободного неба, чёрным курящим вороном.

— Э-э-э нет, брат, ослиный моча — нельзя много ссать. Совсем бензин испортишь. Людям нехорошо. Мне нехорошо. Я ж не ишак паршивый!

— Хорошая логика, Алибабаевич! Как травка! И до боли знакомая, главное! — я искренне расхохотался наивности узбека, и где-то внизу раскатилось эхо грома. — Ты только следователям эту байку не рассказывай. А то примут за своего и отпустят на все четыре стороны. Где зиму зимовать будешь?

— Это почему ещё? — с добродушным испугом удивляется Василий.

— А ты притчу про святого политика знаешь? Давно его ищут... Как раз подходишь — гадишь немного, но со-

вестливо. Такие нам нужны, Василий... — перехожу я на шёпот, и внизу шелестит ледяной дождь. — Алибабаевич, слышь? Мы в этой стране такую революцию бахнем, Ленину тошно станет! Уже, наверное, тошно. Мы этих козлов...

— Мишек... — инфантильно вставляет политически грамотный узбек.

— ...Ну хорошо, медведей... научим не спать, когда им ошейники надевают. Ты со мной, товарищ?

— Страшно как-то, — искренне смущается Василий Алибабаевич и отчего-то громко каркает; внизу полыхают молнии.

— Ладно, ладно, лети. Рассвет скоро. А я покумарю ещё чуток. Но — никому! Могила!

В воздух взметнулась чёрная рука-крыло, сжатая в кулак, — «но пасаран», Василий Алибабаевич отшвырнул тапочки в сторону и сорвался вниз. Землю окатило градом. Хороший человек, пусть и ворон.

А потом пришла принцесса Лесси, и «вихри враждебные» растворились в обволакивающей боли воспоминаний.

...Олеся не умеет врать. Она признаётся трудно и честно. Искренность ей к лицу, как Афродите пена морская. И от этого саднит вдвойне. Она говорит то, что не смог сказать я: мучить друг друга — бессмысленно. Мучить друг друга — преступно. Я молчу. Девочка делает за меня мою работу — она расстается. Мучаясь. Преступно и бессмысленно любя.

Крестики-нолики...

В нашем кафе — Берлиоз. «Фантастическая симфония». Шествие на казнь. Как-то бравенько. Берлиоз — сумасшедший, его музыка — больна! Разве можно такое посвящать любимой женщине? И разве не этим я занимаюсь добрую половину своей и чужих изувеченных жизней? В моих стихах нет рассветов, мои рассказы не улыбаются, моя единственная книга — правдивая чёрная ложь. От начала — до конца. Я — вампир. Я высасываю из любимых людей эмоции и оставляю на месте любви пожар. И ухожу с любовью, чтобы не возвращаться к пепелищу. Я знаю: лучшие произведения о любви — трагедии. Драмы. Это знание — крест. Если вообще может быть крест у подонка. У меня он есть. Незадолго до отъезда в Воронеж меня крестил в больничной часовенке отец Алексей. Я что-то почувствовал. Страх? Рядом была Олеся. Я сделал это ради неё.

Она говорит тихо. Она говорит уверенно. Внутренне повзрослела лет на двадцать — она мудра, внешне строга и бескомпромиссна — она расчётлива. Никаких сарафанчиков и фриловых локонов: белая блузка, чёрная юбка, короткая стрижка. Деревенская принцесса Лесси исчезла, её место заняла одна из миллионов — миловидная девушка из городской толпы. Я понимаю умысел — Олеся таких не любит. Предлагает возненавидеть и мне. Это — лишнее. Но она старалась. Я оценил.

— Вы должны знать, дядя Жень, — голос девочки ровный, с давним надрывом, — я не предаю и не обязы-

ваю. Вы остаётесь в моём сердце, может быть, и не последней, но настоящей любовью. Именно потому, дядя Женя... — здесь она всё же срывается, но быстро берёт себя в руки, — именно потому я хочу... как и вы... сохранить это чувство в одиночестве, ни с кем не делясь... И это решение даётся мне трудно, поверьте...

И признаётся трудно. Она рассказывает обо всём, что привело её ко мне. Не торопясь, обстоятельно, опустошённо. О первом мальчике, подарившем ей первый букетик цветов... — в седьмом классе. Олеся прогнала мальчика: его отец работал на живодёрне. И до слёз было жаль загубленные одуванчики. В девятом классе затаивший обиду юноша назвал её идиоткой, а в одиннадцатом изнасиловал — на выпускном вечере, в той самой аллее Славы. До сих пор никто не знает. Я слышу впервые. И не удивляюсь, когда вижу в глазах Олеси не ненависть, а сочувствие.

— Он был пьян, зол и не понимал, что творит... Нельзя было его прогонять... Теперь он в тюрьме... Забил кого-то насмерть... Он пишет письма отчаяния... Он тоже одинок...

Я вспоминаю песню Евгения Клячкина «Подарок» и мне хочется застрелиться:

Даришь  
Мне букетик одуванчиков  
И говоришь: «Храни его,  
Иначе я умру».  
Как же



Донесу домой подарок твой  
Я на таком ветру?!<sup>23</sup>

Олеся делает паузу. Она деликатна. Не замечал. «Взвожу курок» и пью кальвадос — рюмку за рюмкой. Я оказался слабее, стократ слабее этой девочки.

— После того как я прогнала несчастного мальчишку, — продолжает Олеся, — через месяц-полтора в деревню приехали вы, помните, дядя Женя? Мне только-только исполнилось четырнадцать...

Хорошо помню. Середина весны. Лет пять-шесть назад. Я был в командировке в Москве и буквально на четвере дня заскочил в деревню — навестить Фросю и дядю Володю. Можно сказать, успел: дядька погиб через неделю после моего отъезда. Но мы весело провели время в рыбалках, в банях, в садах, что-то подправили в хозяйстве — здесь вечно не хватало рук, что-то развалили окончательно. Тётка была счастлива: пили в меру, по вечерам и под её присмотром. К выходным подтянулась и воронежская родня. И во всё «сторожевское» грянула такая «свадьба», о каких здесь давно позабыли. Прихворнувшая Хрёска и та ожила — ворвалась в хор звонким старческим дребезжанием. «Ты послухай, Андрюш, ты послухай, кады ещё таких соловьёв услышь...» Хрёски не стало через два года. Но в тот вечер бабулечки-соседушки, тётушки-сестрички (эх, жаль, мамы не хватало!), дядя Володя, его сыновья да я огласили окрест самой настоящей, самой очевидной любовью к жизни, к яблонькам, к «вышшням» треклятым, к

---

<sup>23</sup>Е. Клячкин «Ветер гонит стаи листьев по небу...».

Дону-батюшке, к земле родной... к Родине нашей доверчивой. Мы пели и плакали пьяной слезой — забористый всё же самогон в деревне. Мы смеялись так искренне, как никто из нас уже никогда не засмеётся... И в разгар стихийного праздника за своей бабушкой пришла Олеся — худющая девочка в скромном джинсовом сарафанчике, с забранными под бейсболку волосами, и почему-то в кедах. Кеды смотрелись нелепо в весеннем саду. Она тихо сидела на краю скамейки, в конце длинного стола под антоновкой, слушала нас и миниатюрными пальчиками перебирала молодые листики на склонившейся ветке. А я то и дело натыкался на её внимательные чёрные глаза. Иногда она подпевала, глядя в ночное небо, и этот голос очаровывал безмятежностью деревенской души. Увы, я не узнал в той пацанке маленькую принцессу Лесси. Я был увлечён родней, соскучился и был пьян от счастья и самогона.

— Вы не узнали меня, дядя Женя, а утром уехали... — горестно вторит моим мыслям Олеся. — Но именно тогда зелёная девчонка — ваша принцесса Лесси перевернула свою жизнь, как песочные часы. Дурочке наивной казалось: упади последняя песчинка — и вы приедете... или умру... О-о-ой! — грустно и певуче на деревенский манер вздыхает девушка. — Как же тогда всё запуталось, дядя Женя, как всё запуталось... Столько лет падала эта проклятая песчинка, столько лет я над Обвалом колдовала, столько лет никого к себе не подпускала. Поэтому и не любят меня в деревне. Сами видели — до сих пор не любят. А потом приехали вы...

Что-то сломалось в ней. С того самого момента, как я вернулся из села и обнаружил рыдающую девочку в подъезде. Мы расстались утром, и она исчезла. Я изменил своим правилам и пытался звонить. В ответ одна-единственная sms-ка: «Я в деревне. Не ищите меня. Пока...» То ли «пока не искать», то ли «не совсем прощай». Я ждал. Терпеливо сходил с ума. Я представлял Олесю на краю Обвала, и у меня сжималось (теперь уже очевидно) больное сердце. Прошла неделя, другая, и вот она здесь: белая блузка, чёрная юбка, короткая стрижка. Тёмная душа, обволакивающая чувства на манер блузки, юбки, стрижки. Белый — верх, чёрный — низ, остриженная любовь. Безлико. Такой Олеси никогда не было. Это и не Олеся вовсе. Что там произошло в деревне — я не хочу знать. Влияние бабки-колдуньи или поступок созревшей, всё понимающей женщины — я не хочу знать! Она приняла решение. Она ушла тихо, не прощаясь, тоже по-хемингуэевски — под дождь. И дождь плакал вместо неё.

«Фантастическая симфония» Берлиоза отозвалась пятой, заключительной частью — «Ночь шабаша».

Конвоир фамильярно хлопает по плечу — от звонка до звонка, что называется. Бесцветный московский воздух кажется вкусным, я глотаю солоноватые снежинки и закурываю счастье. Сигареты на воле — единственное доступное счастье. Можно стрельнуть, если закончились. А в тюрьме нужно платить за всё: или деньгами, или авторитетом. Но я уже не чувствую себя Че Геварой. К чёр-

ту тюрьму, к чёрту революции. «В этой стране революция произошла!» По крайней мере в сознании одного человека — точно.

Следы ведут от СИЗО к ближайшему бару. Снег — грязный — в кашу, бар — убогий — в подвале. Слева — недостроенная часовня. Знакомо. Только вместо погоста — узилище. И души пока взаперти. Знаки. Символы. Я давно перестал обращать внимание на то, что нужно сопоставлять. Да и не обязательно быть экстрасенсом, чтобы предугадать, например, первые шаги только что выпущенного на свободу зека. В девяноста девяти случаях: сигарета — водка — женщина. Я останавливаюсь на первых двух.

«В этой стране революция произошла...» — мысль окаянная, засела глубоко. Не стоило прерываться до приличного ресторана. Хвост несостоявшейся сентенции прищемило в том самом калеке-баре для «откинувшихся». Там никто и никогда не вспоминает о вероятности дальнейшего пути. Всё больше обсуждают время: время — символ их недолгой и дешёвой свободы. Я сбежал вовремя. Там — холодно, здесь — тепло. Пижонистый «Гоголь» напротив Гоголя истого. Ресторан-тёзка никак не походит на задумчивого Николая Васильевича. У нас день и ночь — бизнес-коммуникации политиков, политические инсинуации воротил. У него — всегда ночь, всегда скорбь наедине с собой и Русью. У нас подхихикивают заезженным шуткам и угождают вульгарным леди. У него сатира — всегда сатира. И отравы-ирония взрыва-

ется болью: «Чему смеётесь? Над собой смеётесь!» Мы лживы — он истинен. Как Бог. Я сижу в окне-витрине за кривоногим столиком и жду: когда же, наконец, Николай Васильевич совершит подвиг и «подаст руку изнемогающему духом»<sup>24</sup>. Первым успевает официант. Шустро для заведения. Вероятно, меня здесь помнят. И не только по хорошим чаевым, но и по разбитому зеркалу в туалете. Психанул я тогда. Бывает. Не всегда в зеркале видишь кривую рожу, иногда и само зеркало просто не нравится.

Оживший телефон сиротливо и голодно верещит sms-ками, уведомлениями о пропущенных звонках. Для него пятнадцать суток — как пятнадцать лет. Его события — не чета моим разложенным по полочкам «новостям». Не принятых вызовов стало в разы, в десятки раз меньше. Собственно, за всю отсидку — пять, последний — вчера, от Артура. И снова нечего сказать старому другу. Жаловаться мы как-то не привыкли — ни он, ни я. «Старому другу может быть худо...» — приходит эгоистическим сомнением и так же быстро уходит. Три от мамы, через каждые три дня. Значит, послезавтра будет звонить. Нехорошо. Как и Артуру — сказать нечего. Один — от жены. Загадка. Причём — сегодня (и как это я его пролистнул?). И чего же ты ждёшь, дорогая? Покаяния? Так его и Господь Бог не дождался... Количество sms-ок тоже поредело. Порядком. Исправно строчит лишь дочка: о погоде, о домашних заботах, об оценках, о поведении сына — весь в

---

<sup>24</sup>Н.В. Гоголь «Авторская исповедь». Дословно: «Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогающему духом».

папу, про маму — ни слова. А последняя — с явной тревогой, чуть не с отчаянием. Мерзость комком встала в горле. Было б зеркало — разбил бы нахрен! Выпил. Успокоил дочь. Живой. Помянул себя дважды. От Олеси — ни строчки, ни смайлика. Всё. Остальные не интересовали — стёр не читая. Тут же пришла ещё одна от неизвестного абонента: «В этой стране революция произошла...» И следом ещё: «Беги!»

Событие или новость? Сентенция для потерянной мысли нарисовалась сама собой: «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра!» — Шевчук на заре перестройки. Что-то невнятное победило в молодом государстве. И снова — в «молодом»... Когда же оно повзрослеет!? Что-то перевернуло страну бескровно и насмерть. Почти бескровно — террористы не в счёт. Было уже. Что-то перекрутило мою родину сухо и жестоко. Вместе со мной. Вот она — эта новость. С моей негражданской позицией негражданина, с моим пресловутым «отчаянием интеллигента» — я перестал понимать и принимать среду обитания (а надо бы на свежий воздух, как советовал граф Толстой<sup>25</sup>. Но творил же эту новую реальность! Творил. И состоял в первых рядах трагической перезагрузки, отвергнув ту страну и не приняв эту.

Где я?

Ау?

---

<sup>25</sup>Л. Толстой: «У интеллигенции кроме других скверных привычек есть ещё привычка носиться со своим отчаянием. ...Скучно это, и надо вам всем на свежий воздух» (Одесские новости. 1903).

Не о том ли мучился Бродский:

Как легко мне теперь оттого, что ни с кем не расстался.  
Слава богу, что я на земле без отчизны остался...<sup>26</sup>

Не жилец, не мертвец, посредник...

С моей-то — не моей любовью! Я до сих пор не могу разобраться: а любил ли я когда-нибудь или болезненно и настырно привязывался к чистым душам? Как пугливый ребёнок, никогда нарочно не ищущий приключений в шкафах и в тёмных комнатах, но остающийся один на один с ночными ужасами спальни — без любви, без мамы и папы.

С моим-то — не моим прошлым, перечёркнутым крест-накрест минимум трижды: робкими штрихами осуждения отцов детьми, учителей учениками, пастырей паствой — иезуитской войной поколений; кривыми линиями дутых рейтингов новоявленных лжепатриотов — в бумажной стране; и собственноручно — жирными полосами отречения от самого себя: что было, то было, а чего не помню — случилось не со мной и не здесь.

С моим-то неверием верящего в рок человека, для которого новая страна открыла Бога, и Он вдруг перестал быть Богом. «Свой парень» для úрок. Духовная ниша для аморальной власти. Я тоже хочу получить кусочек Бога. И я знаю: мне его выдадут по первому требованию — в любое время, в любом месте, в любое время суток. Дьяконы поставят свечку и «плюсик». Душа нарисует «нолик». И

---

<sup>26</sup>И. Бродский «Неужели не я...».

это будет не Бог... Ведь к истинной вере идти трудно. Я спотыкаюсь о веру. В этой стране вера неудобна, как лежащий полицейский в темноте: кто не знает — оставит колёса. И нашему народу нельзя Бога на халяву — поубиваем друг друга за право быть ближе к Престолу... Нет. Нас нужно гнобить, сечь, сажать в тюрьмы, на кол, морить голодом — истреблять... — чтобы мы верили, чтобы мы выжили. Ведь революция произошла не в стране, не в умах, не в клозетах. Страшнее. Она пробралась в души...

— Собирай урожай, Николай Васильевич, мертвее — даже в твоё время не было... — я зову официанта и прошу поднести рюмку Гоголю: пренебреженно хрусталь на высокой ножке, с полотенчиком и подносом; так я хочу — по почтению.

...А бежать — бессмысленно. Самому себе я нигде не нужен. Довлатов бежал, но рвался в тюрьму, к лишениям. Его бунтарская душа настойчиво просила горя — своего, не буржуйского. А он сопротивлялся и горю, и эмиграции. Выжили — бездушным глаголом выжили. И всё же Довлатов не потерялся даже на Брайтон Бич. Я потерял родину в Иркутске, в Воронеже, в Москве, я не узнал свою родину в Сторожевом. Куда?! С моим паспортом — хоть к чёрту на кулички, все страны открыты. Но опять же — бессмысленно, не интересно, не героически как-то. Это предательство, Сергей Донатович! Хоть под конец жизни Вы и поняли, какой костлявой перспективы желали отечеству. Пусть и с последней рюмкой, но поняли. И воскресни Вы сейчас, то вернулись бы в ту страну, где увечились. А



в эту, за которую боролись, для которой страдали, за которую пили, не вернулись бы точно. И вовсе не потому, что родина не оправдала бы Ваших глумливых ожиданий. Отнюдь. Здесь можно закодироваться и умереть бесцветно счастливым... а это — не Ваше, и не моё... И бежать надоело, бестолку. Самому себе я нигде не нужен...

Мимо огромной фешенебельной «витрины» ресторана проезжают такие же пустые, никчёмные троллейбусы. Я отражаюсь в их стёклах кривоногим столиком, бутылкой кальвадоса и горкой винограда — подарок заведения. Лишь бы ничего не бил. Далеко за полночь. Меня не трогают. Я свой. Моя кредитка внушает доверие. Благодаря тюремному пайку, можно шикануть на пятнадцать суток вперёд. Жаль без цыган. Бурная битва за демократию ещё долго будет наваливать икру на хлеб. Противно. Я протестую и не ем икру. Не ем даже масла. Довлатов давился макаронами и килькой, Мариенгоф — суррогатами... Ещё троллейбус. Остановился напротив. Там — бичеватого вида существо. Одна. Улыбается беззубым ртом и подмигивает расписным фингалом. Нарядно. Что-то демоническое, непонятное и... светлое. Она счастлива, и это выносит мозг. Я откидываюсь на полосатый диванчик и засыпаю. Оплачено чаевыми. Я снова не жду — где-то случится рассвет...

...И всё же я попал в этот дом. Непонятно — зачем. Хрёска поманила, и я вошёл. Быстро. Не задумываясь. Мутное, паутиненное стекло веранды, сквозь которое

смотрела бабушка на запущенное хозяйство, с внутренней стороны — прозрачной росы. И на двор из хаты открывается фантастический вид: суетливые куры гоняют приبلудного петуха; в стайке у ворка похрюкивает несъеденный Васька, упитанный и розовый, что собственный пятак, — кабанчик в самом аппетитном возрасте; за забором алеют вишни, а тяжёлые ветви налившихся яблонь свисают над калиткой; на крыльце соседский кот караулит замешкавшего цыплёнка; с порядка видны новенькие шиферные крыши и совсем старые — черепичные, покрытые мхом, над ними — беспечное синее небо с полоской от реактивного самолёта, нанизывающей облака, как сладкую вату. Секунду назад была пасмурная разлука, по двору шныряли крысы, а вокруг половинки от тракторной покрывки (когда-то это была поилка для кур) сиротливо слонялся ободранный чёрный кобель. Его оскал и придал ускорение «гостю».

Хату Хрёски помню с детства — она манила уютом бедности и простоты. На стареньком кухонном столе с искромсанной клеёнкой в розочку, рядом с дутым графином с петушком внутри, всегда стояла вазочка со сливовыми карамельками для многочисленных празднующихся балбесов вроде меня. Массивная железная кровать с панцирной сеткой и с отполированными круглыми набалдашниками на спинках (в них мы корчили смешные рожицы) — напротив добротной русской печи. Плетённые вручную тряпичные коврики — овальные, прямоугольные — у кровати, в коридоре, посреди комнаты — обя-

зательно. Телевизор, накопленный упорным трудом чуть ли «не полампочно» (никогда не видел его включённым), всегда был аккуратно укрыт салфеткой-макраме. Старый шкаф, старый комод, старый сундук, старая добрая бабушка Хрёска. Но сейчас... Декорации фильмов-ужасов блекнут на фоне представшего интерьера — так бессмысленно описывать могилу, если это не могила цыганского барона. Самое слово — дрожь. И вроде бы ничего не изменилось, всё на своих местах. Но такое ощущение, что оказался я внутри кукольного домика, втопанного в грязь кирзовым сапогом. Ни времени здесь, ни пространства — червоточина... Я инстинктивно рвусь обратно к двери. Тщетно. За дверью солнца нет, хоть оно и пробивается во все щели. Там — крысы. Туда — заказано. Хрёска печально качает головой:

— Внучок, внучок, разве ж затем я тебя позвала, чтобы ты к свету через тёмные двери ломился? — голос бабушки тёплый, немного звенящий, но речь...

— Хрёс... — я медленно поворачиваюсь и вижу доброе, живое лицо, до боли нужное, важное, своевременное, разделённое тенью на две половинки — яркую и пепельно-тусклую. — Я не знаю, зачем я здесь и откуда — не знаю. Скучаю... По всем вам скучаю...

— По покойникам он скучать удумал! — из сумрака на своих двоих ковыляет дед Ёрка, подволакивая по привычке ногу. — По жизни скучай, мандюк!

— Ёрка, дорогой... — у меня перехватывает дыхание, как у семилетнего пацана, стащившего у ветерана фронто-

вой портсигар и пристыженного до полного раскаяния. — Как вы там? — тихо спрашиваю, опускаясь на мокрую от слизи табуретку. — Ленина видели?

— Ну... — синхронно разводят руками Хрёска и Ёрка. — Кто о чём, а наш — в маразме.

— Ничего я не в маразме, — обижаюсь искренне, — разговаривали мы с ним давеча. Хорошо поговорили...

— Внуя, да не слухай ты его, кобелюку! Трендит, что и на том свете житья нет! — наконец-то прорезается привычная речь Хрёски. — Не выдумывай! Всё хорошо, всё ладно. Смертушка ласково обошлась, вовремя, и Боженька ласково принял, в самый раз. А здесь мы, чтобы свет указать...

— ...Да подсрачника залепить, чтобы вылетел в енто окошко, — Ёрка сипло заходится смехом и тут же получает от Хрёски подзатыльник.

— Костак — он и есть Костак — пустобрёх! Тьфу!

— Бабушка Хрёска, я не понимаю! Какое окно?! Куда вылететь?!

Хрёска улыбается, её лицо становится светлым, тёплым — совсем настоящим.

— К свету, сынок, через тёмную дверь не ходят, — торжественно изрекает Ёрка и указывает обрубком костыля мне за спину; обрубок зеленеет побегами. — Пора тебе, Женька, почти сорок лет, как пора...

— Летайте, внучок, летайте... — бабушка дрожащей рукой перекрещивает воздух у меня над головой. — С богом!

Я обернулся лишь на секунду — комната за спиной опустела, мрак стал гуще, что-то сердитое захлюпало под ногами, грязное, мерзкое, неопределенное, точно объятия паники. В армии учили: в тупиково-кризисной ситуации решения принимаются чувством самосохранения, интуитивно. Я всю жизнь — в тупике и постоянно в кризисе. Ноги сами понесли к веранде, оттолкнулись и вышвырнули тело с брызгами оконных стёкол во двор...

...Проснулся с шумящей головой и полным разочарованием: кажется, я не увидел главного — озарило ли солнышко Хрёскин двор. Зато на столе нарисовались вполне оптимистический для заведения счёт и осязаемая чашечка горького утреннего эспresso — всё, что напоминало рассвет...

Семь сорок. Гоголь, одетый в снежную шапку и гусарские эполеты, укоризненно молчит. У подножья мерцает нетронутая рюмка водки. Странно. Либо — уважают, либо — забыли.

*Как два крыла, две стрелки на часах,  
Что ж, ангелы, пора на Небеса.  
А ты была как самый верный путь  
К спасению...  
Я понял суть: не надо половин —  
Я полу-лгал и был полу-любим,  
Был страшен суд, и я приговорён  
К забвению...<sup>27</sup>*

---

<sup>27</sup>Слова из песни «Аэропорт» Ф. Гизитдинова и В. Татарникова.

Говорят, знаменитый «Аэропорт» братских бардов написан с глубокого перепоя. Знаю их — могут. Говорят, песня посвящена женщине, бежавшей от любви дорогих ей людей. Знаю — любили, но не рискнули дружбой. Говорят, эти стихи — эпитафия для начинающих новую жизнь. Знаю — по-прежнему любят, по-прежнему пьют. О себе — ничего не знаю. В кармане — шереметьевская лотерея — три электронных билета. Рейс 737 Москва — Иркутск. Как всегда — задерживается. В Иркутске — метель. Рейс 1371 Москва — Париж. Вылетел. Без меня. Рейс 571 Москва — Пекин. Идёт регистрация. Запад — восток — середина земли<sup>28</sup>. Отрезки матрицы. И две таблетки, как в «Матрице». Расслоение неизбежно. Душа расслаивается по всем городам сразу. Душа — в лохмотья. Париж — увидеть и умереть. Пекин — Чанг Май — золотой храм в предгорьях Гималаев — забыть всё. Иркутск — обнулиться — и кануть в жизнь. Москва опостылела. Воронеж разрушен. Сторожевое пугает. Точки на карте можно менять местами — расстояние останется прежним. И точки останутся точками — смысл жизни от них не зависит. Я не пью уже три дня, и это не решило моих проблем. Смотреть на мир по-трезвому — невыносимо и даром. Психика со мной солидарна.

Сегодня тридцать первое декабря — ночь исполнения желаний. Новогодний билет в Париж порвал. Безвыигрышная лотерея. Что-то увидеть, чтобы умереть, — глупо. Даже Париж.

---

<sup>28</sup>Из песни «Любимый Иркутск — середина земли» на стихи М. Сергеева.

Объявили регистрацию в Иркутск. Пять часов лёта. Приземлимся как раз на рассвете. Заманчиво. Миловидная девушка напротив радостно подхватила сумки. Из самой большой празднично машет пластиковыми лапами безупречная китайская ёлка. Ничего натурального. Девушка накрасится в самолёте. Я сижу. Меня никто не замечает. Это — правильно. Меня нет.

Регистрация в Пекин заканчивается. Зарегистрировался. Ещё паспортный контроль и таможня. Я перебираю пальцами билеты во внутреннем кармане пиджака. Милиционер подозрительно косится. Давно здесь сижу и перебираю билеты. Он не знает о моей лотерее. У него — своя: дожждаться напарника, сдать смену и уйти к новогоднему столу. Или не дожждаться напарника — тот уже пьёт. Я видел накрытые столы в опорном пункте милиции. Проверяли. Неблагонадёжен. И в самом деле — не Дед Мороз. Ни сумки с подарками, ни оптимизма. Только возбуждающая щетина террориста да изрядно помятое чёрное пальто. Я бы и сам заподозрил неладное. Всё, что успел накопить за два месяца, — оставил хозяйке. Та была искренне растрогана щедростью премии и колонной пустых бутылок — от кухни до балкона. И ноутбуком. Таким же щедрым и пустым. На книги продвинутый вахтёр из Гнесинки внимания не обратила: трёхтомник Довлатова, пятитомник Кастанеды, Фазиль Искандер, сказки Андерсена, Гофмана, томик Мандельштама, томик Бродского, атлас мира и моя — последний экземпляр. Из авторских. Кривая надпись через всю обложку: «Был. И вам... Ваш! Я».

Ленин в тезисах и «Партизанская война» Че Гевары — по-  
верх стопки.

Строгий голос объявляет фамилию. Требуется немедленно явиться в Пекин. Окончание регистрации в Иркутск. Зарегистрировался. Телефон откликнулся sms-кой. Первой за неделю. Кто бы это? Дочь осталась без связи, уехала на учебные каникулы в Вену. Телефон не звонил уже месяц. Читать — не читать? Лотерея. Везёт же мне сегодня на право выбора. Sms-ка может означать ещё один порванный билет или оба. Или порву не тот. Я устал от выбора. Выключил телефон. Для надёжности зачем-то достал батарейку. «Ой, бардак, бардак! Бардак!» — вспомнилась весёлая песенка «Бобров». Я расхохотался на весь зал и жестом волшебника извлёк из кармана первый попавшийся билет. Пекин... Стало грустно и обречённо. Шестое чувство ничего не говорило о Пекине, шестое чувство молчало и об Иркутске. Как обезьяна с гранатой, честное слово! Голос уже гневно призывает явиться к добровольной эмиграции. Поимённо. Где-то ещё один «разъелдай» шастает. Объявили посадку на Иркутск. Зовут на родину. Время ахает в голове молоточками, и я проживаю каждую секунду оттенками: белый, чёрный, чёрно-белый. Пекин — выход восемь — международный. Иркутск — выход шестнадцать — внутренние авиарейсы. В два раза больше. Выхода нет. В голове снова звучит Бродский надрывным голосом Сургановой:

*Невозможно отстать. Обгонять — только это возможно...*



**В** отличие от Евгения Михайловича Лукашина, очнувшись я не пьяным в аэропорту, а совершенно трезвым в самолёте — вполне благонадёжным гражданином, разве немного помятым и неразговорчивым. Куда летим — решил не уточнять. Вокруг царит праздник — стюардессы разносят шампанское за счёт компании, пассажиры распаковывают виски и шоколад. Сколько времени — не ясно, часы тоже достались хозяйке: OMEGA — практически вечный хронограф «Speedmaster» (неслабый подарочек от процветающего ныне политика). Я их просто забыл, как это случилось и раньше... Пришлось собирать мобильный телефон... С Новым годом!

Две минуты как по Москве. Никогда бы не подумал, что новость обрадует. Впервые, пожалуй, я не заметил черту между маленькими эпохами, между событиями той и этой жизни. Удивительно ровное чувство. Обнуление. Открыл шторку иллюминатора. По-доброму восхищенно ахнул. На высоте в десять тысяч метров новый год приживается вольной зарей... — и не так начинается день подомной, совсем не так. Внизу не замечают рассветов, а если и встречают их, то по плану, и восторгаются небом. Я очарован землёй. Нежно-розовые крылья ложатся на плечи горизонта, а милое, милое солнышко, столько раз оплаканное в донских закатах, только-только прибывается к сердцам романтиков... От позабытой заоблачной красоты защемило в груди. Что-то пытаюсь представить, что-то осмыслить, с ходу родить первую строчку оды — никак. И зарницы описаны классикой... «Солнце ещё не взош-

ло, а в стране...» Не то... Внизу — много дураков, но не меньше гениев, и все они имеют равные права на солнце. И лишь приговорённые боятся рассветов...

Доброе утра, страна...

Доброе утро!

Я возвращаюсь домой!

Для первого раза достаточно. К возвращению нужно привыкнуть — нельзя бояться пути назад. Я закрываю шторку. Потом закрываю глаза — на ресницах капли росы. Сидящий рядом грузный мужчина респектабельного, сытного вида недовольно фыркает. Ему не понять — его рассветы расписаны, а мои лишь в проекте. Он — упакованно счастлив, а я — только учусь быть счастливым.

— Зря вы... — добродушно заявляет пассажир. — Это стоит увидеть. Рассветы над Китаем — нечто!

«Любите?» — спрашивает sms-ка. И я не знаю, что ответить... Не стоило включать телефон. Отрезок — не прямая, отрезок конечен. Вырванный из прямой отрезок.

**Game-революция: эпилог**

05.03.2012

[www.aldana.ru](http://www.aldana.ru)

**Независимый авторский проект «Чайхана»**

**Выборы-2012**

Центральная избирательная комиссия не торопится

объявлять результаты выборов президента РФ. Читать полностью...>

ЦИК объявляет о хакерской атаке на ГАС «Выборы». Читать полностью...>

### **В этот день год назад**

«Единая Россия» приняла в свои ряды мэров Иркутска и Усть-Илимска. Читать полностью...>

В конце прошлой недели региональная «Единая Россия» наконец укомплектовала в свои ряды мэров крупных городов Иркутской области. В партию вступили глава Усть-Илимска и мэр Иркутска. Оба объяснили это исключительным благом для своих муниципалитетов. Но коммунисты тут же связали это с арестом мэра города Братска, который так и не успел попасть в ряды партии власти. Единороссы, увидев, что мэр несговорчив, тут же запустили механизм политических преследований, чем напугали остальных глав городов, считают коммунисты. В «Единой России» эту версию отрицают и предлагают КПРФ «не мешать всё в кучу»... Полностью материал можно прочитать на сайте «Восточно-Сибирской правды»... >

### **Без предела**

В Н-ской области сотрудники спецслужб разоблачили шайку предприимчивых школьников, которые организовали минно-взрывную лабораторию и производили бомбы на продажу. Для этого они использовали реактивы, по-

хищенные в учебном заведении. Игра в террористов не показалась столь безобидной. Читать полностью...>

Следственные органы N-ского края возбудили уголовное дело в отношении ученика седьмого класса, который изнасиловал малолетнего ребёнка прямо в школьном туалете. Всё происходящее одноклассник насильника снимал на камеру. Читать полностью...>

### **Линия отрыва**

После двенадцати часов, проведённых за компьютерной игрой в одном из местных клубов города N пятиклассник в бессознательном состоянии доставлен в больницу, где умер от инсульта. Врачи убеждены, что причиной трагедии стало чрезмерное увлечение мальчика виртуальными сражениями с монстрами. Читать полностью...>

Новое развитие получил скандал, связанный с инициативой радикального движения «Патриоты» продвигать в молодёжной среде компьютерную игру «Своя борьба». Читать полностью...>

Новое развитие получил скандал, связанный с инициативой радикального движения «Патриоты» продвигать в молодёжной среде компьютерную игру «Своя борьба». Напомним, накануне Дня защитника Отечества Федеральным агентством по делам сохранения гуманитарного достояния нации был презентован симулятор военной стратегии на основе нашумевшего фильма «Мы из будущего-3». В игре действует главный персонаж картины по кличке Борман, заброшенный через открытый им портал

контрразведчиками современной России в фашистскую Германию сорок пятого года. Задача агента — ни много ни мало — изменить ход истории, для чего ему предстоит решать логические задачи и, конечно, уничтожать противника. На двух первых уровнях игрок фактически обучается быть диверсантом — владеть оружием, языками, различать немецкую форму, выполнять команды, на следующих двух участвует в боевых действиях на стороне вермахта и делает всё возможное, чтобы Советская Армия получила наименьший урон. Когда Борман достигает определённого авторитета, исходя из количества набранных очков, его переводят в Берлин, где агенту предстоит встретиться со штандартенфюрером СС Штирлицем и совместно с ним разработать план досрочной капитуляции Германии — «в пользу неделимости страны и установления в ней демократического строя». Также Борман уполномочен вести переговоры с союзниками о поэтапной демократизации СССР.

«Фантастический бред вовсе не выглядит бредом, учитывая взятые прокремлёвским движением обязательства продвигать симулятор среди студенческой и школьной молодёжи. Сегодня история пишется программистами под диктовку рг-технологов... — отмечает наш эксперт — доктор философии, публицист, профессор Николай Ледяев. — Вспомните, в сентябре 2010 года была выпущена игра «Евгений Онегин», в которой все персонажи изображены в популярном стиле анимэ. Начало сюжета ничем не отличается от оригинала: «молодой повеса»

действительно «летит в пыли на почтовых» к «дяде самых честных правил». Однако по прибытии в фамильное имение он выясняет, что в округе шастают зомби, выращенные любителем расчленять лягушек Базаровым. Нёжить в игре предлагается истреблять на пару с невесть откуда взявшимся Чацким. Этот бред увлёл школьников настолько, что вместо сочинений по произведениям Пушкина учителя во многих регионах страны получили образцовые комикс-страшилки. Не смешно и сейчас...» Николай Ледяев и его единомышленники из престижных вузов страны подали протест в Генеральную прокуратуру РФ на «аморальные и антиконституционные» действия Агентства. Полностью интервью Николая Ледяева можно прочитать здесь...><sup>29</sup>

### **Неслучайная почта**

Позавчера ко мне на почту пришло письмо с электронного адреса расстрелянного сегодня в Крестах вора в законе Михаила Горелова, известного в соответствующих кругах под кличкой Горе. Читать полностью...>

Позавчера ко мне на почту пришло письмо с электронного адреса расстрелянного сегодня в Крестах вора в законе Михаила Горелова, известного в соответствующих кругах под кличкой Горе. Криминальный авторитет, предчувствуя скорую смерть, поручил своему адвокату передать в прессу сканы исписанных карандашом листов. Адвокат заявляет, что эти сомнительные «признания» его

---

<sup>29</sup>Некоторые факты взяты из доступных источников в Сети.

подопечный сделал ещё в Москве два года назад, будучи под следствием. В соответствии с действующим законодательством все материалы направлены в правоохранительные органы.

Тем не менее несколько страниц, не относящихся к делу, я решил опубликовать без купюр, не дожидаясь санкции Наблюдательного Совета. В них злосчастный Горе предстаёт в неожиданном образе. Не удивляйтесь, это — стихи. Но Горелов не претендует на авторство. Он пишет, что их оставил странный арестант, вероятно, по ошибке попавший в камеру к рецидивистам. За «хулиганку». Их было одиннадцать, он всех хорошо помнит. Но именно об этом человеке ему ничего не известно. Сначала его приняли за «стукача», однако сокамерник за все четырнадцать дней пребывания в кутузке не проронил ни слова. «Двинутый, — характеризует товарища по несчастью Горе. — Что-то малевал, потом выкидывал в парашу. С утра — до ночи. Отключался перед рассветом... Эти листы не успел покоцать. На рассвете мусорá его увели и больше не вернули...» Вор пишет, что еле-еле разобрал каракули странного соседа, всё ещё думая, что читает доносы. И вдруг «осенило по голове» (авторская стилистика сохранена): «Это моё! Этот странный тип не случайно оказался в нашей хате... Тень...» Далее я не буду приводить путанные и порой бессмысленные откровения Горелова. А стихотворение неизвестного (или всё же исповедь криминального авторитета?) оставляю на ваш суд.

Как-то под утро — до петухов,  
Меня посетила тень:  
Гуляющая сука в оборке мехов,  
На шее затянут ремень.  
Провыла беззвучно и замерла  
Ошеренная — в ногах.  
В душу нацелены два сверла —  
В голову метит страх.

*Кто ты, хозяин? Откуда здесь?  
И главное — почему-у-у?!*

Провыла понуро замшелая спесь,  
Как будто не мне одному.  
И в голос бы крикнул, да онемел:  
Кого *называешь* ты?  
В иерархии грешника я не успел  
Отмеренной взять высоты.  
Один. Выдыхаю. Здесь я один!  
Кто же хозяин твой?

*Ты моё тело, о мой господин,  
Мне быть — его головой...*

Ужас... Прикован... Кожа трещит,  
Зубы ломает лёд.  
И ангел-хранитель не защитит:  
Он просто меня не найдёт.  
Что ты?! Надрывно. Чья слуга?

*Твоя (отвечает) ложь...*



*Бываю проворна, как мелюзга,  
Тупая, что кухонный нож;  
А прежде иного — сито твоё,  
В котором ячейки — блеф!  
И добрые зёрна клюёт вороньё,  
Пока ты питаешь их гнев!  
Но я-то — при деле. Ты отчего  
В пустые подался края?  
Сейчас не до музыки сердцу Его,  
Здесь правят такие, как я!  
Здесь нет горизонтов и облаков,  
Дорог — ни кривых, ни прямых...  
Что потерял на равнине волков  
Один из немногих живых?..*

Котяра под боком. Томно урчит —  
Ничто не пугает кота.  
Подружка дешёвая сладко сопит.  
Всё та же в ночи пустота.  
Над крышами звёзды усеяли мир —  
Вершину вселенского дна.  
А ты — инфузория, ты — сувенир,  
Которому — грош-цена...  
И мысли коварные: выйти в окно,  
Достало душе ворон.  
И вот тебе раз — появляется «но»,  
Туманное, как закон.  
И речи туманны, и всё — не так:  
На месте моя голова,  
Мерцает у зеркала старый пятак:  
Паромщик не примет слова.

Давно я готовился, да не к тому,  
Что тенью за мной пошлют.  
Я мог выбирать и тюрьму, и суму,  
И в смерти найти приют.  
Но истины две, и они — на весах,  
Малейшая ложь — судья.  
На правую чашу кинут мой прах,  
На левой — останусь Я...


А что канцелярия *ваша*? Сбоит?  
К чему сей прижизненный вой?  
Хотите поставить ложью на вид,  
Что всё ещё я — живой?  
Так это не новость, уже умирал,  
Воскрес и опять в строю.  
И бездну отчаяния — не выбирал,  
Теперь — на земле стою.  
*Здесь* — человек, и сто «почему»,  
И некуда мне идти...

*Если «не веришь» себе самому,  
Веры ни в чём не найти.  
Время идёт — фееричная блажь,  
И в сумерках ты неспроста:  
Где сорное поле и пугало-страж,  
Я — только основа креста.  
Где идол искателя — я горизонт,  
Скрывающий первый луч.  
Я демона — воля, ангела — фронт,  
Как ты — для Пандоры ключ.  
Но рано! Как рано! В твои ли года*

*От смысла искать ключи?  
Меня призывать на защиту стыда?  
Не спится?*

*Тогда кричи!*

И я заревел, как израненный лев,  
Пугая в окрест петухов.  
И стая ворон раздербанила гнев  
И с ним ещё — сотни грехов.  
Страх улетучился, близок рассвет,  
В ногах ошетинился кот.  
Подруга вскочила, укуталась в плед,  
Дрожит и мычит: «Идиот!»  
А я рассмеялся, впервые с тех пор,  
Как Бога презрел в сердцах.  
Давненько не вёл о себе разговор  
При праведниках и подлецах...

 [Вернуться на главную...>](#)

### **Форум «Чайхана»**

— Эй? А кто победил?

— Где все?

— ...

*Май 2010 года — август 2011 года, Иркутск — Москва*



Андрей Sh

люди,

ТВАРИ

и

любовь...





У него дома жили хромая кошка, одноглазая собака и ворона с перебитым крылом. После ухода жены кошка стала агрессивной — в зареве скандала ей навсегда отдавали лапу и ласку. Собака преданным щенком приبلудилась два года назад — еле живая от побоев: тогда он потерял работу и в молчаливой пьяной истерике сидел на ступеньках подъезда. А трепыхающаяся подстреленная ворона обнаружилась на козырьке того же подъезда: он увидел её конвульсии через кухонное окно с высоты табуретки и с петлёй на шее. Он подумал, что перебитое крыло птицы — это его перебитая душа, и выхаживал ворону почти два года. Не пил, устроился дворником, снова начал писать неоконченный и не начатый роман. Ворона поправилась, но летать уже не смогла, кошка немного подобрела, собака перестала гадить в прихожей. Так и были они в кругу добропорядочных граждан — маленьким семейством хосписа, для которого законный мир существовал вечерним дождём и утренними пыльными улицами. Потом он умер от одиночества и безысходности — и тот-

час улетела ворона. Говорят, на безвестной могилке брошенного городского кладбища до сих пор можно увидеть странную парочку — хромую мурчащую кошку и одноглазую скулящую собаку.

Она часто сидела у раскрытого в море окна и пересчитывала суетливых серых птиц: голодные, злые, они носились по песчаной косе в поисках мертвечины и истошно каркали, призывая Посейдона к милости. Полгода назад неподалёку от уютной скалистой бухточки китобои учили расправу над безобидным стадом и без того исчезающих финвалов, и многие раненые животные приплыли к её берегу. Умирать. Она видела их фатальную агонию и кровавые фонтаны воды, поджидавших падальщиков и спешно убирающихся восвояси браконьеров, слышала горькую лебединую песнь мастодонтов и одинокое, испуганное курлыканье недобитых детёнышей. И ничем не могла помочь. И весь день, всю ночь и всё утро, пока умирали киты, проплакала слёзы в небо — они поднимались к облакам, собирались в грозовые тучи и уносились прочь — на другой конец планеты, в другой океан. И ей было больно от того, что небо плачет не с ней, а где-то в другом полушарии... Сегодня ворон оказалось на одну больше. Но залётная птица не суетилась со всеми: покружив немного над косой, над домом, она села на подоконник и внимательно посмотрела ей в глаза. Одиночество, забытое много лет назад, напомнило о себе тупой болью.

*Август 2010 года, Ольхон*





Он издох под утро, отвергнув помощь людей, смирившись. Миловидная добрая женщина пыталась перевернуть его на лапки, солидный мужчина брезгливо обходил стороной, а шумные дети изо всех сил «боялись» и корчили страшные рожицы. Никто не убил, не прикончил, не остановил конвульсий умирающего насекомого: и то, и другое, и третье исключало четвёртое — традиционный тапочек или свёрнутую в рулон газету. Маленькая, никому не нужная трагедия в десятиллионном мегаполисе, ничтожная драма в фешенебельном люксе на семьдесят четвёртом этаже восьмидесятивосьмизэтажного Baiyok Sky Hotel — одном из самых высоких и звёздных зданий Бангкока. Как сюда забрался несчастный тропический таракан — неизвестно. Почему решил преставиться на глазах у vip-клиентов — вообще загадка. Семья приехала осваивать город контрастов, готовая и к блеску, и к нищете: и к роскоши королевских дворцов, и к убожеству обитателей каналов, и к реинкарнирующему из храма в храм Будде, и к дефилирующим по барам проституткам — на

любой вкус, пол и цвет. Но смириться с картинно поды-  
хающим в ванной комнате насекомым — на спине, на бе-  
лоснежном полотенце для ног, лениво шевелящим лапа-  
ми и усами — невозможно! Слишком мерзко видеть не  
убегающего таракана. Поэтому женщина хотела дать ему  
шанс, а мужчина нервно курил в гостиной: дорогой, за-  
бронированный загодя номер испортил (недружелюбный)  
незванный гость. Призывно расстеленная кровать под воз-  
душным балдахинном, уснувшие наконец дети в дальней  
комнате, картины в ведёрке со льдом и холодные оливки  
в оригинальной керамической плошке, перспектива фее-  
ричного секса на фоне текущих ночных магистралей и...  
тараканы в голове. Когда-то в шумной студенческой об-  
щаже не мешали ни мыши, ни пьяные соседи, ни блевоти-  
на на подоконнике общественной кухни. А неделю назад  
он продирался через болота Мьянмы, наступая на гадов и  
расчёсывая в кровь изъеденное москитами лицо, ночевал  
в рыбацких лодках в Лаосе, не обращая внимания на мерз-  
кие запахи и ворошащиеся берега Меконга. И всё время  
думал о ней... Они плотно прикрыли дверь в ванную ком-  
нату, выключили свет в номере и — уснули спина к спине.

А утром таракан не шевелился. Почил. Ему давали  
возможность уйти, но он выбрал комфортную смерть, с  
лоском и почестями. Как и мечтал. Они завернули труп в  
салфетку и отправили насекомое в последний путь: и дол-  
го смотрели, как водоворот уносит бумажный саван на де-  
сятки этажей вниз, в канализацию, в реку, в море, в оке-  
ан. Бачок ещё не наполнился, а для пытливых чад уже ро-

дилась легенда: усатый гость улетел домой — в тропики, в джунгли, к жене, к ребятишкам. Обоим стало легче дышать, проще жить и проще любить, обрекая тайну двоих на бессмертие. Вернулись какие-то чувства, короткий секс восстановил статус-кво отношений — без прелюдий и забытых нежностей. Он думал о ней, она думала о нём — и никто не посягал на мысли друг друга... А когда проснулись их шумные дети, и страх вчерашнего дня прошёл окончательно, проснулся и Бангкок, не засыпавший вовсе, — единственный беспристрастный свидетель космической драмы.

*Ноябрь 2010 года, Бангкок*



## Джулия и первая жизнь Мелиссы

Мелисса была старой опытной кошечкой. Пусть не очень мудрой и породистой, но весьма опрятной и ласковой, белой и пушистой, несмотря на преклонный возраст и тихое одиночество в ногах хозяйки... Она помнила её ребёнком — светловолосой девочкой с тугими крестьянскими косичками, избалованной маленькой леди. Именно благодаря капризам Джулии появился безродный котёнок в семье благородного пэра: Мелиссу выбрали в канун Рождества неподалёку от помпезного каирского отеля, напоминавшего дворец шейха, и увезли на далёкий туманный Альбион — на родину Джулии. Там они подружились и росли вместе. И вместе взрослели, доверяя друг другу и скромные радости, и вселенские печали.

Мелисса созрела первой: стала беспокойной, кричала по ночам в огромном пустынном замке на берегу Темзы, царапала дорогую мебель и портила вековые гобелены. Ей грезились Нил и шумные базары Каира. Шерсть дыбилась, глаза горели безумием. Втайне от девочки Мелиссу стерилизовали — кошечка повзрослела и остепенилась. А че-

рез несколько лет и Джулия превратилась в очаровательную светскую девушку, воспитанную в духе Ренессанса и вскормленную на овсяной каше, — от шаловливого живого ребёнка не осталось ничего шаловливого, как и от кошки — агрессии. В четырнадцать лет Джулия в совершенстве освоила этикет, уяснила меру дозволенного в обществе равных и научилась достойному поведению с прислугой. Она легко усвоила несколько языков, определилась в предпочтениях в опере и балете, полюбила классическую музыку Альберт-холла и душой рисовала осенние сельские пейзажи на уроках живописи. Но истинные чувства спали: пуританское наследие предков подавляло всплески эмоций, а стремительность мира неизбежно вязла в канонах приличий. Повзрослевший сын садовника Сабир (в детстве с мальчиком-арабом они много времени проводили вместе) как-то незаметно исчез — поговаривали, уехал на родину, в Египет; крепкие водители и телохранители стали вдруг сдержаннее, хотя раньше могли запросто взъерошить волосы малышке Джи; и даже караулившие днём и ночью у ворот молодые привлекательные папарацци в тёртых облегающих джинсах теперь нещадно разгонялись перед её выездом в свет. А нищие оказались недоступны для подаяния. Вакуум раздражал цинизмом.

Мелисса видела и чувствовала метания Джулии. Из года в год девушка всё больше превращалась в куклу в изящной упаковке: а выгодно продать и то и другое — закон. Один из законов благородного общества, наипервей-

ший из которых — соответствие. Джулия ждала соучастия. И Мелисса сопереживала ей как ребёнку, ластилась по ночам к юному телу с кошачьим вниманием тайной подруги. Мягкими лапками, хвостом, мордочкой ласкала шею, грудь, спину девушки, иногда забиралась под одеяло и спала на её животе, чувствуя, как Джулия вздрагивает во сне от случайных прикосновений к лону. И то, что когда-то маленькая девочка принимала за игру, однажды обрело смысл наивысшего наслаждения. Джулия бросила университет, свет, порвала с родителями — и они прокляли непутёвую дочь, оставив без содержания, переехала в Париж и стала самой экстравагантной и чувственной куртизанкой Франции, дарящей роскошное тело и кошачьи ласки избранным, утончённым мужчинам. За счёт их искренней любви и привязанности она жила в самых дорогих апартаментах с видом на Эйфелеву башню, ужинала в самых престижных ресторанах, принимавших когда-то Наполеона, Гюго, Сартра, и пожинала при этом лавры вьедливого театрального критика, пишущего под именем Сюзанны С\*. И от её слова не раз сотрясилось прогнившее дно богемы. И лишь Мелиссе было одиноко в Париже. Она не отличалась особой мудростью в этой жизни и всё же осознала ошибку: невинные ласки не проникли дальше чувственных зон девочки, душа Джулии так и осталась не обласканной, не оплаканной, не перенёсшей боль утраты, чтобы стать истинной душой человека. Джулия не любила ни жизнь, ни вино, ни театр, ни тех, кто оставался у неё на ночь...

Мелисса осторожно подошла к лицу спящей хозяйки, утомлённой чужой страстью, потёрлась о её щёку, лизнула шершавым языком губы, свернулась калачиком на животе и уснула. Навсегда.

\* \* \*

Спустя месяц после пышных похорон любимой кошки в Булонском лесу пребывающая в глубокой депрессии Джулия неожиданно получила открытку с видами египетских пирамид: *«Сегодня полная луна, здесь не лихие времена, когда в пустыне враждовали племена. Паяц и дервиш, и факир, спасаю от безделья мир — туристы любят гуттаперчевый Каир. А ты не плачешь, не грустишь, ты в это время крепко спишь, он утомляет — феерический Париж. И вряд ли помнишь обо мне, как о потерях на войне, лишь сожалея о немыслимой цене! Твой Запад выше моих сил, и мой Восток уже не мил: ты не Сюзанна вовсе, я не Исмаил. И там, где наши имена, разлука выпита до дна. И я по-прежнему один и ты одна...»* Отправитель не значился, но уже на следующий день Джулия бросила всё и уехала в Каир... Престарелый садовник с радостью поделился адресом сына.

\* \* \*

Мутный Нил выбросил на берег холщовый мяукающий мешок. Его нашёл местный мальчишка и принёс на шумный каирский базар, раскинувшийся неподалёку от фешенебельного отреставрированного отеля с богато убранными номерами, ставшими ещё больше похожими на спальни шейха. Котёнка выпустили, потискали, напои-

ли молоком, потом город тысячи минаретов загудел полуденным намазом, и кошечка осталась предоставленной самой себе. Так началась вторая жизнь Мелиссы, наполненная мудростью первой и неизбежностью опыта седьмой.

*Ноябрь 2010 года, Москва*





## Светлячки часовых поясов

Почему-то он любил это время — перед её пробуждением и своим засыпанием. Там и здесь... Ещё не рассвет и уже далеко не сумерки — обрывки ночи в разных часовых поясах. Они приятны и бесконечны, как томная нега в колыбели ангелов. Что это — нега? Неучтённые секунды, минуты, часы — апофеоз наслаждения? Смысл? Он не ангел и никогда не томился негой. Но как хорошо знать... Как великолепно ощущать гармонию сердца и лёгких... И как восхитительны ритмы зари, — она просыпается и шепчет, шепчет светлячкам поблёкших созвездий: «Спокойной ночи, любимый...» Как и он, только-только уснувший, успел пожелать ей доброго утра... под пение цикад и далёкий крик петуха. Так начинается день грядущий, так и закончится день ушедший, между ними — история смыслов, перевоплощённых в эмоции утра и ночи и в ощущения дня. На расстоянии — смыслы не ищут:

Кто живёт быстрее из них?

Кто стремительней в страсти?

Кто ведёт в этом танго внезапной любви?

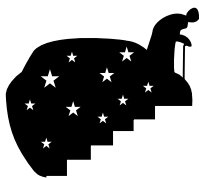
Она — пробуждённая или он — заснувший?

«А разве это имеет значение?» — тихо спросят меркнущие светлячки в Азии. «А какое это имеет значение?» — хором отзовутся игривые светлячки Европы. «А почему это имеет значение?» — задаст он последний вопрос темноте и уснёт без ответа. И проснётся на миг, чтобы сделать открытие: жизнь одна, чёрт побери, и слишком прозрачна, чтобы думать о смерти. Банальные открытия всегда уникальны. И кому нужна одинокая жизнь? А ещё он забыл пожелать доброго утра любимой, бесконечно думая о любви. Время... Его не обманешь. Оно нереально в колыбели ангелов и настолько прекрасно, что секунда между часами — всё...

«Доброе утро, милая! Принимаю твою эстафету...»

Летите, светлячки, летите...

*Декабрь 2010 года, Москва*



## Старик, идущий по лестнице

---

*Лестницу, поскорее, давай лестницу!..*

Слова Н.В. Гоголя накануне смерти

Первая ничего не значит — прочерк — теперь ничего. Впереди — восхождение, монолитная жизнь из семидесяти шести этажей железобетона, ста пятидесяти двух пролётов, одной тысячи восьмисот двадцати четырёх рифлёных ступеней, ведущих на куполообразную макушку восьмидесятисемизэтажного небоскрёба. Его стеклянный панцирь отливает золотом в утренних лучах — он похож на исполинского стража в нелепо крошечном шлеме и нескладных доспехах, струится неоновой радугой в ночи — вызывая и развратно, как подгулявшая жрица любви в отставке: но это хоть как-то спасает урбанистического монстра от будничной деловой серости. Внутри — муравейник, хаосащий вопреки законам природы: здесь каждый сам за себя, в себе и даже в сообществе корпораций — одиночка. А всё, что объединяет людей-насекомых в подобие креативного разума, — отрывистые sms-ки, циничный Интернет, шаблонные смайлики на лицах и импуль-

сивные неприличные жесты — старику неприятно, неинтересно. В его бытность подбирали слова по ритму, интонациям, а если и жестикулировали — то подчёркивая, а не перечёркивая сказанное. Он прожил не меньше двадцати восьми тысяч дней, в среднем — по триста шестьдесят часов на каждую ступеньку, не считая високосные годы и относительность даты рождения — то ли в середине, то ли в конце весны — в тридцать четвёртом, если не врут бо́льничные архивы и покойники. Сегодня — осень. Не до секунд и жестов. И минуты — «пустое» при таких-то масштабах: подошва сорок третьего размера накрывает полмесяца разом, невзирая на фазы луны и гороскопы. Спят. С тех пор, как ушла *она*, а дети перестали наполнять ветхое пространство полоумного бобыля смыслом, он увлёкся нумерологией, по-дилетантски исчисляя время — песчинка к песчинке, сопоставляя кривые цифры с годами неизлечимой депрессии. Всё вкусное, ароматное, цветное, благозвучное, трепетно осязаемое и святое в мыслях замерло между двадцать девятым и тридцать третьим этажами: там они знали о счастье больше, чем вся история человечества — от простодушного кроманьонца до идущего по лестнице чудака. Никогда не строили планы на завтра, не закупали продукты впрок, не планировали рождение сына, дочери, не признавали скупости и не стремились к старости: их время — песчинка к песчинке — текло в настоящем, минуя вчерашние воспоминания. Красивое поглощалось прекрасным, прекрасное — восхитительным. И мир приоткрывался чуточку проще — без высоты.

Но прежде он родился — на первой, ничего не значащей ступеньке: где-то в трущобах на окраине мегаполиса у измочаленной проститутки. И был настолько чахлым, что никому и в голову не пришло выхаживать заморыша: подождали минут десять и попросту вышвырнули из окошка в канал, замотав в окровавленное тряпье бездыханное синюшное тельце. Думали, что бездыханное. Свёрток угодил на тент небольшого ялика, затем спружинил на колени к накуренному лодочнику — по иронии судьбы тот увозил из притона подпольного акушера. Свёрток записал, как пищит сдавленная котом крыса. Красномордый недоучка-врач чуть с ума не сошёл, лихорадочно вспоминая и клятву Гиппократ, и более свежие обещания полиции не заниматься халтурой. И всю дорогу до ближайшего захолустья пытался отмыть недоносок в мутной ледяной воде. Бубнил и бубнил молитвы, то и дело переходя на латынь в крылатых выражениях и лекарственной терминологии. А хихикающий перевозчик курил и курил. И жизнерадостно благодарил аиста — не промазала птица! — и пьянчугу-доктора — за тройную оплату. Через четырнадцать лет хилый бескровный юноша нашёл непутёвого эскулапа в хосписе: на двадцать седьмом пролёте остались капельки его проспиртованной крови.

Семь этажей — легко: побеленные стены, отмытые до блеска пролёты, перила, площадки — за время отсутствия старика пожарную лестницу не успели испохабить вездесущие подъездные граффити. Пусто. Вычищено, как память коматозника. Точно офисы корпорации, едва не ра-

зорившейся в кризис (а когда-то она занимала чуть ли не половину здания). Убрали ненужную мебель, вышвырнули и хромого уборщика с семилетним стажем — как некий символ рецессии. Что такое «рецессия» он не знал, но терпимо отнёсся к решению управляющего. Сил доказывать гражданскую состоятельность и демонстрировать негражданскую оппозицию не осталось. А слово — звучное. И по году на каждый этаж выходило: кабала или кабала — тоже загадочно. До чёртиков.

На площадке между шестнадцатым и семнадцатым пролётами рядом с урной забыт изнахраченный зонтиктрость, или выкинут за ненадобностью, как усердно отработанное орудие... — нитроглицериновые воспоминания. Восьмилетним он оказался в католической школе для мальчиков — просто попался на глаза сердобольному священнику. Спартанский приют и неудачные попытки усыновления — в прошлом: там Бог существовал исключительно в воображении — такой злой и ненавистный Санта, агрессивно настроенный к брошенным и недостойным детям. А здесь Бога пели, читали, рисовали, слушали и даже ели, и у него имелся добрый Сын, которому постоянно жаловались через тонкую перегородку на боль в животе или на обидчиков, а чаще просили прощения по всяким пустякам — руки не мытые, штаны порванные, молитвы с ошибками. И, конечно, благодарили. Иисус отвечал взаимностью, по-отчески, превращаясь в доброго Санта-Клауса и раскошеливая спонсоров на рождественские подарки. Красота! Свитеры, шарфики, рукавички, иногда —

игрушки, чаще — шоколадные плитки. И он тоже благодарил Бога — за тепло. И только за тепло. И не видел особой разницы между Отцом и Сыном. И его били за неуважение — зонтик викария стегал большее римских плетей. Не понимал непутёвый викарий, почему первая ступенька послушника столь холодна.

Четырнадцатый этаж и пролёт пятнадцатого старик одолел с закрытыми глазами, на ощупь. Ему мерещились окровавленные руки священника, судорожно сжимающие сломанный зонтик, и стеклянные глаза акушера — с застывшей в них благодарностью измученного совестью идиота. Бог ругался на этом отрезке, и старику было стыдно перед Богом. Поэтому он бежал спотыкаясь — пролёт за пролётом, не обращая внимания на мусор и разрисованные пошлостями стены, бежал пока мог: от себя, от Бога; скитался по разным, ничего не значащим для него странам, воевал за ничего не значащих для него людей — в Африке, в Азии, на Ближнем Востоке. Бежал, бежал, а Бог серчал, серчал и осерчал совсем — решётки на окнах с двадцать четвёртого по двадцать восьмой этаж появились недавно. Почему-то именно отсюда полюбились самоубийцам отправляться в последний полёт: то ли благодаря широким карнизам — так задумал архитектор (наверняка с суицидальными наклонностями), то ли исходя из простого расчёта — кому хватало духу добраться до двадцать восьмого этажа, тот не ошибался в стремительности и фатальности обратного пути. За время, что старик проработал в корпорации, с небоскрёба спикировало не менее дюжины моло-

дых и не очень людей. Некоторые падали красиво, не обречённо — не как мешок с дерьмом, а раскинув крыльями руки, словно прощая и обнимая ненавистный мир. Этих жалели. Других проклинали: менеджеры — за ущерб репутации, клерки — за скоротечность шоу, уборщики — за мозги, впечатанные в асфальт. Когда-то и у старика был выбор: смерть в полёте или свобода в клетке. Свободу за него выбрал Бог, а закон потребовал клетку.

Старик отдышался. Пятьдесят восьмой пролёт двадцать девятого этажа ничем не отличался от типовых конструкций предыдущих двадцати восьми. Чисто, как с первого по седьмой, правда, тревожнее, чем на четырнадцатом, но свежее, ровнее, проворнее в отрезвлении памяти. В воздухе — смутно узнаваемый хвойный запах с остаточным привкусом крепкого табачного дыма: вероятно, дезодорант или хорошее моющее средство. Сердце взбесилось. Он буквально ощутил, как упругую мышцу молотит и выдавливает через рёбра фаршем, а лёгкие выжимает насухо с треском. Непроизвольно прижался грудью к перилам, сделал шаг-другой по ступенькам — отпустило. Таблетка раскрошилась в пальцах и пылью легла под ноги. Он сел. Иной болью отозвались морозный лес и диверсионная база в горах, бестолковые недели ожидания, клубы самосада, первач и «мясорубка» в глухой деревушке, окружённой со всех сторон вековыми соснами и лиственницами; её огромные чёрные глаза и белизна тела в развалинах языческого капища, только-только созревшая грудь, рванувшая навстречу страсти и гибели, и острые



зубы, рвущие от испуга плоть. Он овладел ею на могилах предков, грубо, цинично, чувствуя себя и подонком, и средневековым рыцарем, оскверняющим дары благочестия. А потом... она завладела им и уже не отпускала. Вопреки всякой логике — не отпускала, вопреки здравому смыслу — ждала. Они встретились на войне: *она* — огрызок войны, без роду, без племени, уже не подросток — ещё не девушка, но с мудростью женщины и опытом древней знахарки — и *он* — без дома, отечества и соотечественников, давно не юноша и не мужчина — глубокий старик в извилинах. И любовь изменила их, дав телу страсть, а душе зрелость — два в одном, одно на двоих — и нежную волю жить, оберегая друг друга, выдыхая спасение из губ в губы — не делясь, не тратя, не расточая — ни миру, ни войне. Так он стал дезертиром, а она беженкой. В никуда. А потом долгих четыре года она ждала, вымаливая у ветра, огня, воды и земли милости к скромному их счастью; и встретила у ворот тюрьмы с маленьким сыном на руках — прекрасная, одинокая и блаженная. Не спрашивал он, как жилось ей всё это время в ржавом, продуваемом всеми ветрами трейлере на лесной опушке, вдали от оживлённых трасс и городов, как любилося, тосковалось, мучилось, голодалось... — он увидел глаза, и спасение пришло вовремя: четыре года зимы, четыре года лета — восьмилетняя пропорция бесконечности... А потом всё рухнуло — на тридцать четвёртом этаже. Она забрала сына и ничего не объясняя вернулась на родину: война закончилась. Ветхая тряпочка со следами запёкшейся

крови девственницы и записка в две строчки: «Она зачата в любви, а не в страсти. Я спасаю любовь от безумия». И он не искал беженку, покорно дезертировав из семейной жизни, и не выяснял истинных причин бегства, чтобы не перестать любить. Так она завещала. И лишь через много лет их взрослая дочь обмолвилась, принеся скорбное известие: женщины тех краёв не прощают мужей, берущих чистоту мечом, — они не способны победить гордыню, но любят и верны до смерти... Старик заплакал: четыре года счастья и сотни ступеней неугасающей, ноющей, по-сиротски прекрасной любви.

На тридцать четвёртом этаже он с трудом помочился в урну, мысленно извиняясь перед коллегами, перекусил без аппетита, запив чёрствый хлеб и подплесневевший сыр обычной водой из пожелтевшей пластиковой бутылки, и решил вздремнуть. Сна, конечно же, не случилось, как и в последующие сорок два года. «Забытьё — лучшее средство избежать уколов реальности или мёртвых провалов в беспамятство: не определишь зону сумерек, как ни старайся, а значит, и меру ответственности. Нет ни контрастов (любят — ненавидят), ни однозначности (белое — чёрное). Ровно. Ни холодно, ни горячо. Но невозможно, невыносимо, пусть и гарантирован шанс на белые одежды! Следовать ритму жизни, чтобы та не казалась пассивной или, наоборот, — стремительной, чтобы её течение не увлекало к иным берегам... — кто на это способен? Притормозить, дать фору, обставить на повороте, опережая свои же события... — кто так умеет? Мы останавли-

ваемся на миг, а жизнь уходит на десятилетия, просачиваясь между «любить» и «ненавидеть». И догнать — невозможно! Обогнать — невозможно. Отстать — невозможно... А ничья — всегда заблуждение...» — так думал старик, продолжая беззвучно плакать, промокая щетину на обрюзглых щеках той самой тряпочкой со следами крови любимой. Ещё сорок два этажа вверх — хлеб, сыр и вода — пресно, но вполне жизнеспособно для грызунов и пресмыкающихся.

Пять лет он самозабвенно пил всё, что наливали в барах и бросали недопитым на столах и в урнах... — десять пролётов не составили особого труда: почерневшие от копоти стены не несли никакой информации. Разве что о недавнем пожаре на тридцать пятом этаже — в жару замкнуло кондиционер. А пил он знойно, не особо вдаваясь в детали о происхождении или исчезновении карманной личности. В конце концов желудок не выдержал, взбунтовался и отполовинился, а мозг и руки сами собой вспомнили давнее ремесло. Мир снова охватил хаос локальных конфликтов — следующие двенадцать этажей он ковылял по поясу в крови. Как убивать, убивать, убивать — всё, что он знал в совершенстве. Наёмник или патриот — наука войны беспристрастна, пуля для всех одинакова. И за это его ценили: безупречность, далёкая от эмоций, и чувства, вырезанные вместе с желудком. Он был идеален... Как оказалось — не до конца. Закрыв собой какого-то туземного сопляка, оказавшегося под перекрёстным огнём на минном поле, он стал инвалидом, нищим солдатом — без

отечества и соотечественников, без ноги и веры. И на этот раз не было губ, чтобы вдохнуть спасение.

Пятьдесят первый этаж слепит, как больничная палата. Восемнадцать пролётов, двести шестнадцать ступеней по пятнадцать дней каждая, мимо разрисованных воображением стен — психоделика жертвы и животворящего креста, любви и ненависти, распятых по обе стороны от Иисуса, — длинный путь восхождения к самости реального мира. Здесь ставят капельницы и дают таблетки. Как только он осознал боль от уколов и тошноту от головной боли — его поздравили с юбилеем. И с возвращением. Куда — не сказали. А боль утраты вспыхнула сверхновой, стоило прикоснуться к взрослому сыну и к так похожей *на неё* дочери. Ненадолго. Дети испугались безумного прошлого матери и забыли отца — к чему инвалиду переживать за тех, кого он потерял на войне. Красивое, прекрасное, восхитительное... Лестничные пролёты, ступени, площадки... Старик восходил всё выше и выше — к закату жизни. К философии почтальона в провинциальном городке на десять тысяч жителей, умеющего не докучать разговорами о погоде и приносящего плохие вести с веточкой вишни; к мудрости садовника в доме престарелых — он никогда не подстригал газоны и кусты на глазах у стариков; к опыту инструктора в подростковой школе скаутов — его подопечные умели находить пропитание под ногами и переносить боль с улыбкой; и, наконец, к философии, мудрости и опыту уборщика — видеть в мусорном ведре часть себя, а не часть мира.

На площадке семьдесят шестого этажа старик остановился, отдышался и замер — всему есть предел. Следующая ступенька обгоняет жизнь, и не факт, что оставшиеся двадцать два пролёта принадлежат ему безраздельно. Нельзя быть эгоистом на пожарной лестнице: кто-то пойдёт следом, кто-то навстречу. А чёрная летучая мышь, непонятно каким образом оказавшаяся здесь, бьющаяся о призрачную свободу окна, будет приветствовать отчаянием всех, кому повезёт её встретить. Он жаждал умереть свободным, как те, которых жалели; спикировать ангелом в подzemелье ада и тем самым сохранить любовь для суровых испытаний. Он жаждал доказать себе, что те восемь лет — шестнадцать пролётов где-то посередине — стоили всей бесконечности жизни. И что выбор на первой ступени всё же имеет значение. Но...

Он тяжело поднялся на последний этаж и решительно распахнул дверь на крышу. Ветер и слёзы. Ночное небо ослепило глаза и звёздами рухнуло в душу, поглощая сомнения покоем и распыляя мудрость в очаге тахикардии. Выбор. Летучая мышь, бьющаяся за пазухой в окровавленной тряпочке — в одном взмахе от непостижимой свободы грызуна, и человек — запертый иллюзией восхождения: волей идти или волей стоять. Старик обратил лицо к небу и улыбнулся — мудрость уняла одышку. Из ладоней выпорхнула летучая мышь и на мгновение зависла на фоне полной луны — ничего не значащий символ для взрослых и умных людей. Но он вздрогнул, вздохнул и озорно помахал ей вслед, как ребёнок втайне машет мечте. Постоял,

подумал и развернулся, по-доброму, по-стариковски охая.  
Трудно спускаться с лёгким сердцем туда, где выбор уже  
не имеет значения.

*Декабрь 2010 года, Иркутск*



## Квинт бесконечности

Поезд, точнее, философия поезда — беспроектная тема и для писателей, и для романтиков, и для прагматиков, можно сказать, вечная с тех пор, как изобрели железную дорогу. Кто-то с поезда начинает — больше всего здесь преуспели детективисты; кто-то поездом заканчивает — ах, несчастная Анна Каренина; а мой всё идёт, идёт, и я никак в него не попаду, лишь наблюдаю со стороны вагоны-призраки, виляющие по зигзагам посторонней жизни. Как в тумане: три длинных гудка — и ты растерялся: в какую сторону бежать? Что-то сродни Левитанскому: *«Один, в пути, зимой, на станцию ушёл, а скорый поезд мой пошёл, пошёл, пошёл...»* А почему поезд? Да потому — что дорога. А дорога всегда волнует и вдохновляет: поэтов на стихи, воинов на подвиги, влюблённых на безрассудства — «во имя» и «ради». Хотя и здесь свои особенности. Во-первых, железнодорожная колея подчиняется расписанию и свернуть с неё, в принципе, невозможно, если это не форс-мажор катастрофы или прихоть подгулявшего диспетчера. Во-вторых, любая дорога — это бес-

конечное одиночество, даже если оно фрагментарно увлекательно и событийно. Мы рождаемся индивидами и умираем индивидами, постепенно расщепляясь в коротком отрезке времени кем-то, кто любил, дружил, работал, творил или, упаси господь, убивал, насиловал, грабил... — то есть взаимодействовал с другими индивидами — ведь перекрёстки и переезды никто не отменял. Сложновато, но так задумано свыше. И не наше, человеческое, дело переключать семафоры судьбы. Дано лишь понять: уровень каверзости вопросов о смысле жизни зависит от степени восприятия пути. Лунная дорожка это или дорожка кокаина — каждому своё. Мне повезло. Как-то совсем необычно. Попалась песенка одесской группы Flëur «Тёплые коты» с достаточно скромными, но по-своему милыми куплетами. О чём — не вполне ясно. О любви, вероятно, о тоске по тёплым, людским отношениям. Но одна строчка зацепила так, что сама собой наложила на поезд: *«Переменчивы все вещи в странном мире человеческом. Постоянны мягкие мурчащие коты...»* Из ряда вон, конечно. И всё же попробуем...

Любить поезд — это как любить в себе мягкого пушистого кота, скушающего сытостью, ленью, с урчащей мордой в треугольнике бархатных занавесок на виду у суетливых провожатых. Со стороны — кукольный театр: ты — перевоплощённый актёр, десять минут назад — безжалостный хищник, без стыда, совести и прочих утраченных цивилизацией причиндалов; они — зрители, давненько переставшие верить в сказки и потому лишь на се-



кунду задерживающие взгляд на самодовольной физиономии. Тёплые мурчащие коты их не интересуют вовсе. Они судорожно машут в соседние запотевшие окна — ночь, пятница — и лихорадочно набирают прощальные sms-ки — зима, глухо. А ты выкупил люксовое купе в середине состава, в середине вагона, в середине недели и на три-четыре дня отключил мобильник. И тебе — хорошо. Ты вот-вот отключишься сам, глядя на развеянный город-призрак через янтарные переливы «Чиваса» в полумраке и полусмыслах. Органичное буржуйское пойло призывно и вкусно рябит, отзываясь на стыки рельс. Татам-татам, татам-татам. Двенадцатый месяц. Двенадцатый час. Двенадцать лет выдержки. У обоих. Кто кого? Дешёвый колпачок Санты на горлышке — «эксклюзивная» фишка при вокзального супермаркета — дёргается новогодним болванчиком. И снова — хорошо. Как в детстве, когда под Новый год бабушка увозила тебя в деревню с мешком конфет и купленным на вокзале советским Петрушкой.

Вокзал — отдельная песня, отдельные ритмы. Его суэта — лирика целых поколений, пантеон романтиков, вымирающих ныне на страницах газет и давно вымерших в зомбоящике. Или в vip-залах, в переходах метро, в таких вот купе, или у обогревателей промозглых электричек. Но ты был иным, знаешь? В толстенном дедовском свитере под горло, с бьющим по заднице подранным рюкзаком и гитарой с двумя первыми струнами (или дребезжащей второй вместо третьей) ты бежал в конец поезда мимо вагона-ресторана, гремя бутылками и захлёбываясь

от восторга заливистым смехом — как всегда опаздывая, но успевая жить если не на подножке уходящего пассажирского, то на краю перрона. А теперь провожаешь кого-то взглядом — замусоленного, волосатого, гордого, острожно выглядывая из-за кулис, чтобы не выдать ненароком презрения и... зависти. Но не рванёшь за ним, нет. В тамбуре последнего вагона не ждут куклу — мягкого пушистого кота или затаившегося хищника — без разницы. Там беседуют по душам, без рангов и противозачаточных оговорок.

А может быть, ты рано приехал, перестраховался? Личный Porsche или служебный Volkswagen — да бог с ними! И вызванное загодя такси, и пойманный на удачу барыга беспомощны перед статичной суетой на дорогах. Попадаешь в пробки, заторы, в монотонные стоны клаксонов, в унылые маты нервных водителей — пропадёшь независимо от статуса набитого портмоне и шкалы настроения. Ты смирился. Ты привык разрывать жизнь по графику чудовищными дорожными паузами и допустимой погрешностью на опоздания. Теперь это — допустимо, да, а то и вовсе прилично, теперь это не увлекает максимализмом. Но раз на раз не приходится, и ты злишься, когда приезжаешь на встречу раньше времени — к партнёрам, к родителям, даже на свидание к девушке. Ты не стремишься, ты едешь. И ненавидишь то время, когда добирался до вокзала на электричке, в метро, экономя и настраивая нервы на положительные эмоции. А кто мешал тебе и сейчас воспользоваться общественным транспор-

том? «Кольцевая» под боком у офиса, а от дома до ближайшей станции — две минуты, прогулочным шагом по красивой снежной аллее. Нет. Слишком респектабелен для общественного транспорта, слишком комфортен ты в голове. Ты перестал любить себе подобных, дружище. Перестал их ценить, уважать, говорить им приятные вещи. Compliments и те — высшая школа математики... Ты испортился, как только попал в офис. Так портятся фрукты в дорогих вазах.

А офис горит. Всегда. Отчётами, показателями, субординацией. И на большинстве окон нет занавесок: вот она суета — на ладони. Прихлопни... Но стол завален бумагами, папками, прогибается под тяжестью телефонной трели — партнёры или уже кинутые конкуренты давят на жалость. Нет, ты не милосерден. И тебе это нравится. Сговорчивые клиенты изучают в приёмной грамоты, благодарственные письма и сексапильную секретаршу. Здесь ты — благотворитель и меценат, и хозяин мира — с такой-то штучкой... — бог. Тебе завидуют и пока ещё не хотят убить. И не убьют, охранники могут расслабиться: ты — корова, и тебя доят... А казалось бы, чего проще — возненавидь бумагу! Уйди, на хрен, в бирманские партизаны или в камбоджийские монахи, засядь писать роман в конце концов — ведь кропал же ты когда-то стишки для прыщавых одноклассниц и созревающих сокурсниц. Хватит тебе до конца жизни. Нет, не можешь. В каждой закорючке — смысл, истинное лицо хозяина фирмы, авторитет личности и почёт алчности. А сам ты ненавидишь истину.

И как же ты осмелился удрать из офиса?

И куда?!

Пушистые коты — не истина!

Даже дома, собираясь в поездку, выпросив у себя самого три дня на поезд — включая субботу и воскресенье, чтобы дать волю скуке, ты умудрился напихать в портфель никчёмных, ненужных вещей. Вместо томика Гессе (а ты зарёкся перечитать «Степного волка» ещё лет пять назад), не думая и как будто стыдясь перед Нобелем, украдкой суёшь в боковой карман электронную книжку с одноразовыми детективами. Благо ноутбук отложил в сторону. Но туда же отправился и свитер, и удобные джинсы, купленные ещё женой, — последний раз ты их надевал на бракоразводный процесс. А там, куда ты направляешься, минус тридцать, не меньше. Дорогое кашемировое пальто с дорогим красным подкладом, дорогой вельветовый костюм, к которому подходят дорогие плотные сорочки, дорогие осенние туфли и дорогие платиновые часы — это дорогой уровень, да. Бритва вместо губной гармошки — почему бы и нет? Когда-то ты забавно наигрывал «Ветер перемен» Scorpions, несколько выбиваясь из привычного амплуа длинноволосых рокеров, но окна любимой всегда были открыты. И не только она слушала волшебную «флейту» крысолова — ты завоевал-таки сердца её предков. А что стало с девушкой? Ты и не вспомнишь: много лет она варила тебе борщи и в страсти зачала сына, а потом ты стал невыносим, и она ушла. Коротко, правда? Но между борщами, сыном и поездом — ни-че-го. Ни грам-

ма из того, что можно взять с собой. Вот и пуст твой портфель с рубашками. Ты даже сало исключил («провоняет ещё»), нежное, ароматное сало, привезённое армейским другом-фермером, — лет пятнадцать не виделись, а то и больше. Пили много, вспоминали много, а наутро ты всё забыл. А Фёдор как ни в чём не бывало укатил на своём раздолбанном «Патриоте» в деревню. Его память оказалась покрепче твоей — он до сих пор благодарен, и ему ничего от тебя не нужно. Неужели не помнишь, как щуплый «душара» вытащил из-под груды обломков стокилограммового «деда» в полыхающем Грозном? А казалось бы — такое не забывается. Но главное уловил.

Сел и поехал.

Что с тобой?

Покачиваясь, ты идёшь в конец состава: виски тебя не победило, и ты не победил виски. Половина бутылки — на столе. Никто не скажет, что двенадцатилетняя выдержка пошла прахом. Но странное желание увидеть след поезда проснулось каким-то бестолковым озорством. Ведь есть кильватерная струя корабля, инверсионный луч самолёта, тормозной путь автомобиля или колея деревенской телеги, даже хвост далёкой кометы — и тот не загадка. А что оставляет за собой последний вагон — тайна. Догадываешься, конечно, что глупый секрет известен каждому ребёнку или железнодорожнику... — рельсы. Но тебе — мало.

— Да, — шипит оскалом хищник из-под дорогого костюма. — Это следствие заданного движения, путь жерт-

вы предопределён — её всегда можно вычислить по расписанию...

— Э нет, — мурлычет мягкий пушистый кот из-под ворота растёгнутой до пупа сорочки. — Вы ошибаетесь, господин прагматик. Если знать, куда едешь, — не обязательно знать откуда. И наоборот: зная откуда — не обязательно попадать куда надо...

— Это — софистика! — ревёт зверь двенадцатилетним воздержанием.

— Это — квинтэссенция бесконечности, — мурлычет кот двенадцатилетней выдержкой.

Что с тобой?

Ты стоишь в прокуренном тамбуре (ну, конечно, в прокуренном — какие ещё могут быть эпитеты!), смотришь на исчезающие в ночи рельсы и думаешь о ней? Но это — не правильно, это — преступно! Глядя в бездну, нельзя думать о бездне, иначе придётся сожалеть о будущем. Это замкнутая колея времени, друг мой. А точка пересечения — ты! Иди же, беги в голову поезда, стремись к заполярному кругу — там тебя ждут возмужавший сын и женщина, всё ещё любящая, всё ещё страстная. Иди же! Там — твоё будущее. А здесь... — нельзя думать. Это не правильно. Иначе увидишь свои же следы и ужаснёшься — как наследил. Ты понимаешь — где наследил? Куда бы ты ни смотрел, куда бы ни шёл — квинт бесконечности всегда в поле зрения и всегда отстаёт на шаг. Поезд — исключение из правил. Это единственное место, где можно перемещаться навстречу или поперёк вечности, избе-

гая объятий реальности. Единственное место, где можно всё исправить, не возвращаясь назад. Всё меняется, дружище, всё. Лишь квинт бесконечности и тёплые мурчащие коты постоянны.

*Декабрь 2010 года, Братск*



Позвони мне...

*Если тебя нет, то и меня нет. Понял?*

Сергей Козлов. Если меня совсем нет

Плюс — я живу. Прочее — отстой. Плохой фильм, дерьмовое пиво, пьяные девочки или незадавшийся день — отстой. Так полагает мой старший. Молод ещё, не научился прыгать по уровням восприятия: быть частью Вселенной, молекулой, атомом, электроном, пылинкой непреходящего на электроны — ничего мизернее в голову не приходит. А без тебя — как без того винтика — машина глохнет (если это не отечественная машина, существующая вопреки законам механики... — отстойная шутка). Выходит, предназначение родиться — предназначение жить. И весь смысл жизни — в самой жизни. Не умрёт Вселенная, будут любовь, Бог и твой ежедневный отчёт за каждый глоток воздуха — не задарма ли... Дохлые птицы, разбросанные серыми кумушками по грязному льду на Чистых прудах, — впечатляют на такие вот мысли. Кто-то снова потравил голубей в столице. Жалко. Мысленно я проби-



раюсь между ними на противоположный парапет, петляя и украдкой радуясь, что не отравили меня. Скорбно радуюсь. Я живу — живут и Вселенная, и Бог, и любовь. А ведь где-то живёт и подонок, убивающий птиц. То ли от зависти — не полетать, то ли от глупости — чистильщики немудры. Тоже мне, часть Вселенной! Как и я. Несправедливо и тупо...

...В семь лет я впервые задумался о справедливости. Нечаянно. Это было нелегко и больно. От ремня горела задница, а слёзы обиды лились через нос, рот и сжатые веки. Получал я редко, но метко (мой младший напоминает меня в квадрате и получает в два раза больше). Но рыдал я по другому поводу: меня увозили чёрт-те знает куда — на Байкало-Амурскую магистраль, где родители намеревались заработать на машину, квартиру, дачу. А это совершенно не входило в мои планы. Ни мои друзья, ни секретный штаб на заливе, ни соседская девочка, что сто-крат прекрасней Мальвины, родителей не интересовали. Нечестно. Однако мама с папой так не думали: они вили гнездо для меня и брата, по кирпичику слагали будущее страны, которое вскоре по кирпичику мы и растащили, и такие, как мы. Но тогда пришлось мучительно стыковать противоречивые несправедливости — мою и родителей. Перевесил, естественно, БАМ: в глухом таёжном посёлке друзей оказалось намного больше, чем в городе, штаб можно было вырыть прямо в сугробе, ну а Мальвину заменила соседка по парте с вечно влажными коровьими глазами. Всё просто. Да и вернулись мы без вся-

ких трагедий и относительно скоро. Мальчишки превратились в пацанов, девчонки — в зануд, штабы — в тайные сообщества, и вожделенные тёмно-синие «Жигули» гордо блестели на виду у соседей и половины города. И никто не завидовал, не угонял, не протыкал колёса — все знали, что роскошь передвижения заработана тяжёлым трудом. Добросовестно. Потому и — «гордо». Я даже кичился какое-то время, пока треклятый автомобиль не раздавил щенка, которого я, к счастью, и не видел ни разу: мне хотели сделать сюрприз, да не успели, а зачем рассказали душераздирающую историю — непонятно. Сурово. И так — за годом год. То рыбки дохли, то кошки пропадали, то жуткая успеваемость в школе (и слово-то жуткое — успеваемость); увлечение астрономией, стихами, гитарой, выбор между неполным и полным средним образованием (поработал на стройке землекопом — возжелал учиться дальше). О справедливости на какое-то время забылось. Пришли другие эмоции, другие восприятия. Девять классов — порог новой жизни. В четырнадцать легко всё: взрослеть, любить, но уже по-настоящему — с пониманием, что это любовь. Не краснея от насмешливых взглядов подруг и беззлобных шуток товарищей. Носить портфель за девочкой на расстоянии привязанной собачонки и томно вздыхать под её окнами зимними вечерами — казалось детством. Хотелось прикосновений, распахнутых глаз, щекотливых разговоров о сокровенном, невинных поцелуев и наивных медленных танцев, трепета от приглушённых кухонных посиделок родителей —

«а наш мальчик-то, кажется, вырос». Всё по стандарту, по прейскуранту. Сейчас, через годы, в другом веке, в другой стране я понимаю уникальность и истинность подростковых чувств. Даже не искренность — это не обсуждается. Дилетантская любовь тем и ценна, что не имеет ни времени, ни опыта: не с чем сравнить, нечем упрекнуть, не на кого оглядываться, не на кого положиться, а если и наступает разочарование — выжившие становятся мудрее, а любовь профессиональнее — способностью выбирать... За девочку меня били. Не слабо. А я испытывал чувства на прочность: не хотел да и не умел драться. Просто любил, защищая честь сердцем, а не кулаками.

Но даже этого было мало для становления путаной философии справедливости. Когда логистика настенного календаря с чёрной змееподобной цифрой восемьдесят девять совсем пошла на убыль, я стал собираться в армию. Попытался, конечно, поступить на очное отделение журфака, но особых иллюзий не испытывал: жирный «уд» по русскому и неуверенное «хор» по литературе, несмотря на плодотворное сотрудничество с газетами, участие в творческих кружках и комсомольский пыл, не гарантировали ничего достойного. «Отмазаться» не пытался, резонно полагая, что второго шанса попасть в погранвойска не случится. Всё же я был активистом и заслужил право защищать Родину от китайцев, а не окапываться где-нибудь под Москвой в стройбате. Пошёл. Как и положено: с шумными проводами, больной головой и лёгким разочарованием. И слава богу. Ждать не обещала, зато — честно: на грани-

це и стук сердца — врагу подмога. Да и повзрослели мы с ней быстрее многих, понимая, что дар юноши и девушки — в экстазе души, а не тела. Поэтому наш прощальный поцелуй был страстным и длился вечностью, а невинный — секундой любви... Пять месяцев в учебке пролетели как *subliminal message*: мы вышли крепкими парнями, не ведая, что творится под носом, но с твёрдой уверенностью, что СССР в опасности. Замполиты мало говорили о перестройке, всё больше налегая на проблемы Варшавского договора и на необходимость повышать бдительность. И мы «бдили» на границе с Китаем в глухой приамурской тайге и плелись на заставы с рябью в глазах от волнистой контрольно-следовой полосы. Спали, ели, ловили рыбу и снова «бдили». Почти синекура, если бы не стоптанные в кровь ноги и провокационное хамство наших соседей — нет-нет да поднимали от скуки в ружьё. Суки. Вскоре меня вернули в гарнизон, в штаб — в самый что ни на есть настоящий. В политотдел. О-о, здесь я узнал много нового о той стране, что всё ещё находилась за забором. Крушение Варшавского блока — не самая большая проблема Советского Союза. Крушение шло в мозгах, начиная с мозгов замполитов. Их главное оружие — пропаганда — в мгновение ока превратилось в семьдесят семь несчастий. Сверху спускались циркуляры о гласности — в отряде появлялись отечественные видеомагнитофоны со стандартным набором американских боевиков (хитом, конечно же, был «Рембо»); в телевизоре скакали непривычные глазу и слуху «На-На», а «Кино» и «Наутилус» звучали из каж-

дой каптёрки всё громче и громче. И пока «духи» и «черпаки» хлопали ушами в экстазе крамолы, «деды» и «дембеля» уже вовсю играли в демократию, прикидывая, как и где на гражданке можно толкнуть военное обмундирование. На политинформациях по-прежнему укреплялся боевой дух воинов могучего, гордого СССР, а из программы «Время» и «Прожектора перестройки» тоненьким пахучим ручейком стекала другая, неизвестная доселе Родина — корявая, поруганная, униженная. И совсем скоро хлынула рекой. В августе. О чём думалось мне тогда, о чём переживалось, глядя на расстрел Белого дома? Забыто. На следующий день я написал ей письмо, единственное за всё время службы. Вспомнил наивный секундный поцелуй подростка и ни словом не обмолвился о прощальном поцелуе мужчины. Посмеялся над школьным максимализмом на уроках пения, над учителем литературы, который не раз выгонял нас с уроков. С тёплой ностальгией описал её выпускное платье, скользящее под моими ладонями, и забавные косички с голубыми бантиками, которые мы никак не могли завязать снова. А в качестве постскриптума добавил до сих пор не понятные мне слова: «Я родился в понедельник, значит — в запасе неделя жизни. Ты родилась в начале января. Это справедливо...»

Как давно... После армии я не придавал значения генезису справедливости. Снова журфак, репортёрская суета, дезориентация в морали и времени, безуспешные попытки стать коммерсантом, закрытые двери милосердия, профессиональная любовь, семья, дети... — узкопрофес-

сиональное счастье. Остальное — в прошлом. Там нет ни мобильного, ни «аськи», ни социальных сетей, ни пробок на дорогах, ни меня, ни «Йеля»<sup>30</sup>. Ноль. Всё обнулилось и протянулось петлёй бесконечности между серыми тушками отравленных голубей. Их ровно столько, сколько мне лет. Совпадение? Нет — забвение. Навсегда? Я почему-то жду, вращаясь пылинкой на электроде Вселенной, жду звонка из прошлого, настоящего, будущего — ведь без меня этого мира не существует. Легко проверить. Теперь ты знаешь мой телефон — звони. Если отвечу — мы оба есть. Есть Вселенная, Бог и любовь (и Господь с ним, с подонком — и его упрямое узколобие что-то крутит в нашем мире). А если не отвечу... Значит, мы умерли. Все.

*Декабрь 2010 года, Москва*

---

<sup>30</sup>Роман, вышедший в 2010 году.



Пространство, движение, время — формы бытия материи, общепринятые каноны сосуществования Целого, компромисс между Божественным Замыслом и метафизической сущностью Большого Взрыва... — втайне Учитель отрицал Науку, не желая шокировать послушников открытием более совершенным, более свободным в постижении, но далеко не современным для пытливых умов. Он перестал спорить с Эйнштейном — его теория душила унижительной уравниловкой пространство и время — досадно; не возражал Ньютону, задетый дилетантским выводом о равномерности абсолютного времени — простибельное невежество для основателя классической механики; осторожно оппонировал Козыреву — его смелая доктрина превращала физическое время в антиген, противостоящий хаосу — есть в этом что-то благородное, дерзкое; а диалектический материализм попросту топил в цитатах марксистов об абсолютной истине — муть. Но больше всего он боялся обидеть Создателя — слишком примитивно выглядел мир в глазах твари, Им порождённой.

Что понимали и что брали на вооружение будущие комиссары времени — Учитель не хотел знать: в его компетенцию не входило право редактировать программу нескольких поколений; да и устал он. Его дело — учить рациональности каждой секунды, а не тому, как она складывается из терций.

Но когда-то очень давно Учитель не был Учителем: подающий надежды студент исторического факультета — каких много, симпатичный романтик с настоящей акустической гитарой и полубог для сокурсниц — его обожали. За доброту, ум, настойчивость и наслаждение. Он умел доставлять удовольствие людям, его окружающим: читая забытые стихи на мёртвых языках или изобретая новые утончённые ласки, уступая законное место сильным или вступаясь за честь слабого. Он ценил время, как никто из его окружения, но никогда не пользовался модными хронометрами с астрономическими поясами или персональным расписанием дня на основе биоритмов: он легко ориентировался по солнцу, звёздам, рассветам, закатам и настроению подруг. А чтобы ненароком не спугнуть драгоценные секунды жизни, будущий Учитель обзавёлся антикварными песочными часами, небольшими — в минуту песчинок — тысячи терций. В непопулярной прихоти молодого человека многие видели наследственное чудачество: его дед имел единственную книжную библиотеку в городе, а окна дома родителей украшали массивные гобелены. Но песочные часы — перебор... — они всегда лежали в кармане, и стеклянное время казалось приятным



на ощупь — прохладное, плавное, неуязвимое. «Разобьёшь, — подтрунивали друзья, — и кончится наше время». — «Ну нет, — изрекал ещё не Учитель, — терции песка лишь развеются в вечности, воссоединив наши истории». И ему прощали безобидную крамолу — не спорили, не осуждали, да и пользовался он диковинкой на людях крайне редко (когда признавался в любви, например, отмечая удары сердца), а историю знал в совершенстве. Но чаще песочные часы видели у него дома на столе, на специальной подставочке, в горизонтальном положении — интерьерные артефакты тогда не запрещали.

— Но почему?! — удивлялись доносчики.

— А всё просто, — охотно отвечал почти Учитель. — В этом положении время не торопит нас делать ошибки, а для тех, кто не дружит со временем, создаёт иллюзию бездны. Если я подниму часы вертикально, то рано или поздно захочется понять: почему прошлое не задерживается в настоящем, а будущее наполняется прошлым. Вам это надо?

— Извольте... — можно позавидовать терпению следователей.

— Прошу вас, — без пяти минут Учитель в сотый раз поднимал часы вертикально, и песок начинал проворно струиться в стыке сообщающихся сосудов, — Блаженный Августин полагал... (ах, вы не знаете Блаженного Августина...) ...он полагал, что настоящее — миг, не делимый на части. Видите узкую горловину? Невозможно выхватить песчинку из неё — ни секундой, ни терцией, как невозмож-

но уловить взмахи крыльев колибри. Так невозможно отделить и прошлое от будущего в движении настоящего — от причины к следствию. Постулат. И даже если вы перевернёте сосуды, поменяв местами «вчера» и «завтра», — направление времени не изменить. На этот случай Аврелий вывел забавную формулу: нет ни будущего, ни прошлого, есть воспоминание, созерцание и ожидание — три времени, обитающие в нашей душе и нигде более. Вот почему мои часы всегда лежат горизонтально: настоящее не существует — уже или ещё, а прошлое — будущее находятся в состоянии покоя, то есть — в вечности, то есть — в доступности. И ведь это никому не мешает, правда?

Всемирные судьи не оценили диссидентского юмора аспиранта. Когда через много лет Учитель стал Учителем и вернулся из ссылки по странам Азии и Ближнего Востока (где движение времени никак не зависело ни от пространства, ни от казуистики чисел), он встретил *единственную* и поразился былой близорукости. Её глаза, как и часы, напоминали горизонт бесконечности, а желанное тело — вертикальный предел. Прошлое и будущее невозможны без равновесия причины и следствия — сам по себе заискрился новый постулат. Если где-то когда-то появилась *она*, значит, в одной из терций зародилась причинно-следственная связь и угодила песчинкой в поток общего времени. Общего *с ним*! Великолепно! Учитель задумался о сосудах любви. Как о способе сохранения и приумножения восхитительных терций (в конце концов, люди рождаются для восхищения, а «мерой исчисления времени ста-

новятся впечатления» — спасибо тебе, Августин!). Он экспериментировал. Он восторгался открытиями: когда его семя перетекало к ней или её страсть переполняла его, когда они оба падали в объятия неги и в изнеможении переставали дышать... — кто-то один сохранял силы, поднимался и шёл за чашечкой кофе или за утренней розой, кто-то один всегда оберегал мерцающую песчинку, чтобы успеть перевернуть часы. И даже когда она умерла при родах, а на свет появился чудесный малыш как самое веское доказательство открытого Учителем закона, он никому не указал на истину: время — способность материи самовоспроизводиться, а любовь — способность передать последнюю терцию вовремя; время и любовь — движение совершенного мира. Так было задумано Словом.

— Учитель... Учитель... — красивая светловолосая курсантка с шевроном послушницы «Академии контроля времени» настойчиво трясла восьмидесятисемилетнего профессора, задремавшего под вековым дубом. — Вам нехорошо?

— Время... — Учитель с трудом открыл глаза. — Как здорово, что ты оказалась рядом, Терция. Возьми это... — Стеклянная колба с двумя шарообразными сосудами выкапталась из ладони в траву и застыла под лёгким наклоном.

— Что это, Учитель?

— Терция...

— Да?

Песочные часы никогда не останавливаются и всегда точны, их погрешность — случай, запрограммированный

временем. Этого Учитель сказать не успел. Когда курсантка осторожно подняла странный предмет, в верхнем сосуде оставалась только одна песчинка. Она мерцала, как самая дальняя звезда на небе. Девушка посмотрела на тихо умирающего старика сквозь потёртое веками стекло: с другой стороны сосуда выполз маленький паучок, показавшийся огромным на фоне песчинки. Рука дрогнула. Последняя терция тотчас сорвалась вниз...

*Январь 2011 года, Иркутск*



## Параллели

---

Святая шла из точки А в точку В — к месту встречи, по пьянящей осенним дождём аллее, не торопясь и не медля, выбирая оптимальный путь между упругими лужами в архаичной мозаике первого листопада. Выцветший зонтик, впопыхах одолженный у коллеги — «мышки» с кандидатскими диоптриями, гармонировал исключительно с мокрым асфальтом и позорно свисал бахромой раскисшей поганки над выющимися рыжими прядями: полтора часа в парикмахерской, час на маникюр, час на прикид и визаж — и всё это обстоятельное великолепие под серой безвкусной шляпой, сочащейся тягучими струями наипоганейшего настроя!

Господи! Девятнадцатый век недоумённо вдыхает, двадцатый катается по полу, а двадцать первый легко переваривает безвкусицу. Жесть! Послеофисная рассеянность и непрактичность — идеальная ловушка для истерик. Ну как её угораздило забыть накануне выходных дорогой французский зонтик в кабинете шефа? Изящный подарок вот уже полгода безупречно подходил к любым наря-

дам: как сейчас — к оранжевому плащу. Подошёл бы... Нелепо дарить зонтики зимой, да ещё на День Святого Валентина. Но мило. Хотя не очередные пошлые чулки с ажурными резинками, так возбуждающие патрона в предвкушении извращённого фетиша, — максимум, что она позволяла шестидесятилетнему борову в обмен на карьерную неприкосновенность. От невесёлых мыслей Святая злилась и обижалась на дождь, но не решалась заплакать: водостойкость туши вызвала небеспочвенные сомнения (в одиночку ей никак не удавалось выкроить на что-то более приличное). Приятель и утешитель в детстве, ангел-хранитель в юности... — не впервые дождь явился не романтическим наставником, а секретарём-референтом — её же зеркалом: всенепременно передать чаяния руководству и забыть о них тотчас под многообещающие комплименты начальства. Пошло! Ещё и мокрый, увесистый, швыркающий носом, туфлями и сыромятной душонкой. Святая не верила дождю уже несколько лет. И сегодня смотрела исключительно прямо, и в кои-то веки молила Бога — по-детски и меркантильно: увидеть первой, успеть отшвырнуть позорный «гриб» в кусты (а соседка порадуетса новому зонтику) и нырнуть в объятия мужественных крыльев её Ангела. И к чёрту шефа со слюняво-ванильными претензиями относительно разреза на юбке, с его трескучим эгоизмом и сморщенным до размеров печёного баклажана пенисом. Чуть не стошнило.

Он летел к точке В из точки С, играючи перепрыгивая огромные лужи и не обращая внимания на ругань прохожих. Приятный молодой человек с ангельской внеш-

ностью — блондин с голубыми глазами, одетый в заношенный брезентовый плащ, опадающий костюм, в водолазку в катышках, в туфлях, похожих на ботинки клоуна, с огромным букетом ромашек над головой — нет-нет да окатывал брызгами нерасторопных зевак. Ромашки в конце сентября никого не удивляли — вопрос цены и желания, а вот высоко поднятые руки — изумляли: он как будто поил букет щедростью осеннего неба и пытался дотянуться до тепла отчего дома, чтобы встретить любимую охапкой летних воспоминаний — земных и свежих, как зелень с грядки. Он совсем не гармонировал с облегающими запахами человеческого уныния, словно и не жил никогда в периметре загазованного мегаполиса. Дождь и палитра спасали его — и от городской серости, и от многомиллионного безмолвия: чистейшие горные ручейки сбегали по складкам плаща и где-то на поясе превращались в забавные шумящие водопады, а осень кружила яркой оранжевой аурой — грампластинкой с ностальгическими записями духового оркестра; кружила, кружила и окружала всех, выделяя лишь Ангела. Кажется, за него всерьёз принялась любовь, не особо щадя и не особо сберегая для будущих страстей и гармоний. А он и не прочь был выхлебать осень жадными глотками, как лёгкий дурмящий эль, а не жгучий зимний аперитив, сводящий с ума перед сытной трапезой. Он летел к точке В с надеждой: случится не так, как вчера, как задумано кем-то, а так, как задумано им, сегодня — с цветами, признанием и поцелуем. Первым настоящим поцелуем в осенние губы — без-

защитные, обнажённые самой природой. Она — Святая, она — поймёт.

За метр до точки В Ангел остановился перевести дух, отряхнуть серебристые капли с одежды и придать букету вид полевого экспромта. Затем он аккуратно зажал ромашки под мышкой, присел на корточки, чтобы в сотый раз завязать непокорный шнурок, и расстроился: из-под подошвы левой туфли выглядывал конвульсивный огрызок дождевого червя. Ангел вздохнул. За метр до точки В он любил Её так, как не снилось классикам драматургии: космос не рождался в такой любви. А червь — всего лишь червь, гермафродит, насколько он помнил из учебников биологии. Самодостаточен, выживет.

За несколько метров до точки В Святая остановилась, поражённая мыслью: как только Ангел произнесёт первое слово — всё будет кончено. Ей не удастся скрыть свои чувства — она не сможет солгать. Месяц-два... — любовь разорит их сердца не завтра. Но уже через год они увязнут в привычке любить и уже никогда не вернут эту осень, этот протест — ураганный побег из офиса, это божественное чувство предвкушения счастья... Она спряталась под бледной поганкой и опустила глаза, боясь увидеть блаженного Ангела, каким он представлялся ей неизменно — в точке В, с охапкой ромашек. Её мир превратился в дождевого червя, ползущего навстречу любви вслепую.

\* \* \*

Она шла к нему, он летел к ней, осенние черви ползли по асфальту навстречу друг к другу. На коротком отрез-



ке между точками А и С он присел на корточки, она укрылась зонтом: они разминулись в случайных мыслях и в каких-то сантиметрах у точки В, так и не встретившись на этой планете. И немало червей погибло под ногами спешащих людей. И в тот день, и после, и погибнет ещё. Да-да. Люди и черви стремительны по-разному...

*Январь 2011 года, Москва*



За секунду до...

Так и случилось: возбуждённо колючие мигалки, трескучий рёв «матюгальников», залипшие за спинами друга друга зеваки — о, эта школярская пытливость русской души, слепящие наугад прожекторы, точно разболтанные софиты в дешёвом стрип-баре, бликующие зрачки телекамер... и меня показывают on-line, уже спущен курок и через секунду меня не станет. Будто я — вымысел, дешёвый роман, который кто-то весьма просвещённый не дочитал до конца, небрежно заглянул на последнюю страницу и забросил на верхнюю полку плацкартного вагона; или чья-то сумасшедшая, бредовая идея обслуживать вечность, дотянувшись синюшными губами до края Вселенной; или игральная карта, скользящая по лакированному столу невыносимо долго и одиноко; или субстанция, или плевок. Что это — «не стать»?

Орёл — решка.

Быть — не быть.

Жить — не жить.

Нéжить?

Вроде бы и не человеческое состояние — интриги не радуют, и не потустороннее — с плотской ментальностью перебор: ведь не девять жизней — не кошка, всего-то одна, и та, как на выдохе, в гармошку собралась. Крепко заварившийся парадокс получается: «не стать» можно кем угодно — угрюмым директором передвижного зоопарка или разорившимся олигархом, и не разочароваться в облачении благоухающего альфонса или смердящего бомжа, но «не стать» совсем, навсегда, вовсе — нонсенс, богопротивная утопия эгоиста. Вот же оно — тело, живущее, умершее или без вести пропавшее — есть, наличествует, проедаемое по законам жанра средой обитания, вот и душа, напоминающая зубную щётку — пока не отмолишь у дантиста кариес, как-то и не задумываешься о её целесообразности. Но в какой-то момент уникальный тандем трещит, расслаивается, и не всегда понятно, кто именно решил «не стать» божьей тварью. Если не по обоюдному согласию, конечно, и не по причине достаточно мерзкой.

Вот и я представлял: иду с поднятыми руками, скинув пиджак и пальто на снег — страшно и холодно, прошу освободить заложников, и террористы согласны; гарантия — моя жизнь, все её сорок лет, выщербленные словно ракушечник. Остаётся осилить несколько шагов и многие вздохнут с облегчением, включая телезрителей и несокрушимого майора госбезопасности. Впрочем, почти полковника. Но палач — законченный псих, у него сдают нервы — он не видит затылком эффектной картинки в прямом эфире, его руки дрожат, он даже не замечает не-

произвольного выстрела. Пуля вырывается «ахом» и летит со скоростью опадающей жизни... в голову — развороченные мозги будут выглядеть не очень-то эстетично и вопреки максимализму — гадко. Это хромая патетика рисовала красивый закат: багровое пятно на белой рубашке, алеющее от её запоздалых слёз, скромные похороны, скупые некрологи и гвоздики: много гвоздик — траурные цветы, которые я ненавижу... Дерьмо, а не максимализм, даже эмо не впечатлит. И всё же она вскрикнет, по-настоящему — впервые с тех пор, как родилась. Её сдавленный вопль заставит миллионы соотечественников оторваться от колбасы и наблюдать заочный приговор ей, мне и великой стране. Хлопок не услышит — не тот случай, когда звук выстрела убивает быстрее пули — скорее, почувствует. Или предчувствует. И это произойдёт почти неожиданно, точно в немом кино — страстно и вероломно. Может быть, так и нужно? Театрально разорвать надорванный круг — мимикой, жестами, слепой пантомимой и добиться от неё хоть капли внимания. Может быть...

...о чём мы говорили в последний раз? О ней. О свободе. О жизни. И тогда снова расхотелось жить. Бессмысленно. Тупо. И не поспоришь. Не потому, что раздавленные чувства исполнены боли — к этому привыкаешь: так инвалиды ценят удобство протеза. Нет. Просто я заглянул внутрь себя и, ошеломлённый, обнаружил в ней то, чего не замечал раньше: за нарочитой холодностью и благородной скупостью притаилась химера — и не в худшем смысле, а как устойчивая конструкция невозможности сосуще-

ствования. Ей совсем плохо одной, а со мной — невыносимо. Замкнутый круг. Именно. Мы говорили о замкнутом круге. О её замкнутом круге, в котором не осталось ни меня, ни её отчаяния. Только апатия — пахнущее больницей слово. Наверное, стоило рискнуть: прижать к себе, погладить по голове, как ребёнка, пожалеть, понять... — так было и раньше. И холод её глаз напоминал об этом. Но время... Я отлучён. Я успел сообразить, что жалость — худшая эмоция человека: она подавляет волю к жизни одного и ломает волю другого — это путь к равнодушию. Так и звучали слова. Я проговаривал их на манер добросовестного спичрайтера, не веря ни себе, ни ей и дрожа от омерзения: впервые мне пришлось изрекать истины сердца на языке логики, высекая ланцетом всё новые и новые постулаты. Искромсанные ткани кровоточили, а сухое красное вино мстительно отдавало сладковато-солёным привкусом:

«Ты говоришь о замкнутом круге — это уже спасение. Можно ползти, идти, бежать и снова ползти — так мы рождаемся, так мы уходим, или доверить свой мир иллюзиям — почему бы воображению не испытать реальность, а можно плюнуть и стать хозяином однообразия — так обитают миллиарды, можно всё, если это совместимо с жизнью. А что делаешь ты, постоянно думая о безысходности? Пытаешься совместить несовместимое, мельтешащее внутри и снаружи, мерзкое и тошнотворное, что вызывает жалость к самой себе? Жалость — тупик, небытие, проклятие. Она не принесёт облегчения ни тебе, ни тем,

кто держит тебя в бесконечной дистанции, и кто взвояет от боли невыразимой, стоит лишь надорвать круг и выпустить гной. Это — выбор: между тобой и лекарством. Ты знаешь. Круги жизни — цикличны, жизненный отрезок — для избранных. Ты учила других обнулению — разорвать и сомкнуться.

Как?

Я не знаю.

Но...

Я видел скрипача, выплеснувшего на публику душу и мозги — одной кодой, одним выстрелом. Он уже никогда не соединит свой круг, он разорвал его осознанно, перечеркнув унылую жизнь коротким отрезком. Может быть, так он понимал обнуление — радикальной вспышкой? А что же осталось публике?

Я знал и поэта, рассекавшего в иступлении вены к последней рифме: надрез за надрезом — один длиннее другого, он словно вымарывал строчки; спасли, слава богу, но кому нужен овощ? Гнилая кровь погубила душу, кривые шрамы — любовь. А что же осталось романтикам?

Я разговаривал в гималайских предгорьях с монахом, покинувшим свет суеты ради света духовного. Он вошёл в круг Будды, он в круге Будды, он говорил о Будде. И только однажды вспомнил о мире, как о черте прерывистой, и глаза отчего-то переполнила грусть: а что же осталось тебе, душа?

Я каждый день вижу и тех, кто без конца бежит по кругу и продолжает вертеться даже на собственных по-

минках: они уважаемы и великолепны и, возможно, счастливы, они искренне гордятся хомячьей бессмыслицей. Иные равнодушно плывут по течению, словно мусор в заводи, ни на что не претендуя, ни к чему не стремясь: их устраивает быть мусором в собственной заводи, у них никогда ничего не рвётся, они всегда сообща. А кто-то живёт по классическим законам механики: обнуляется, забывая о друзьях, любимых, домашних питомцах, вечно мешающих у порога тапочках, или долговых расписках, склеивает разрыв... — и всё повторяется вновь. И что остаётся, как ни снова и снова подчиняться центробежной силе?

Я не знаю, как именно хочешь обнулиться ты: раствориться непонятой, канувшей в круге песчинкой или освободиться желанной, любящей каплей росы? Не важно, во имя кого уйдёшь. Не важно, ради кого вернёшься. Чтобы соединились два круга, два звена, одному суждено быть разорванным — это важно. Это логика жизни, правда, которую ты не хочешь услышать, или боишься признать...»

...только вот ствол — не бутафорский, да игра актёров не слишком профессиональна. Особенно для немного кино. Похоже, я единственный кто уловил звук выстрела — вокруг ничего не изменилось: железобетонный майор застыл слева и в его стеклянных глазах всё также пляшут мигалки; суетливые пожиратели «зрелищ» — справа и даже не пытаются укрыться за спинами оцепления; перекошенное страхом лицо зверя — прямо, перед глазами, и он... сожалеет о допущенной оплошности. Падла! Окончательно утратил доверие: оборвал ниточку переговоров, отрезал

путь к спасению и себе, и мне, и, возможно, заложникам. Это реальность, а не кино. Реальность — дорогое удовольствие, защита от неё — безнадёжна. И ведь знаю, что пуля не пролетит мимо — на то она и шальная, знаю и делаю шаг навстречу. Как там, у Шнурова: «...нет ни смелости, ни страха, когда пуля входит в грудь, то рвётся рубаха...» Констатация факта — и только. И песня-то пёсья, про то, как собаки молятся, а с неба падают кости.

На молитву слов не осталось.

И времени тоже.

Собака есть. Рядом. Похожее на протухшую исполтинскую креветку чудище с плоским от грязи трусливым хвостом и длиннющей депрессивной мордой; крадётся чуть не на брюхе, наступая помойными лапами на краешек тени (точно плащ-невидимку хочет стянуть): увидишь такое во сне — перекрестишься. Не без претензий: но у каждого — свой Вергилий. Зато юмор стального майора бодрит: в клокастой шерсти животного красными блохами пляшут лазерные прицелы снайперов — видимо, я должен проникнуться чувством сострадания, явить крепость духа и, в конце концов, забрать с собой прокажённого пса, как викинги забирали четвероногих в мир иной (дабы не заскучать в Вальхалле). Другого объяснения иезуитской уловке спецназа я не нашёл. Если и манёвр, то я — параноик: за секунду до вечности — очень удобно. Ведь и пуля — не дура: гладкая, раскалённая, скулящая мразь, калиброванный кусочек свинца, предназначенный одним проколом сокрушить все противоречия мира.



Я вижу её полёт, как импровизацию времени, и то и другое — ложь, бессмыслица; и я с иронией вспоминаю, как стоял на краю и безрассудно расставался с жизнью — легко, свирепо, чуть отпустило — в клинической парандже эгоиста: не страшно, горько и настолько досадно, что логика цепенела в недоумении. Сейчас — не то. Жутко. И слишком разумно. Однажды я хотел наказать болью только её, теперь же испытываю на прочность миллионы, включая дюжину ничего не значащих для меня душ: обычные семьи с малолетними детишками, запаханнми мужьями, истеричными жёнами, с самыми скромными бюджетами — с них и взять-то нечего, кроме испуга. Отчего они стали для отмороженного террориста заложниками — непоколебимый майор не пояснил, почему меня выбрали переговорщиком — даже Богу неизвестно. Вероятно, Его просто не поставили в известность («...еду домой, фонари желтеют совсем по-весеннему, воздух свежий, но не вкусный — так зима городская гниёт; ещё один день заканчивается дуростью — все давным-давно поужинали и сидят у телевизоров; а я всё еду и еду, и мечтаю написать хоть строчку, хоть слово, и ничего не напишу, так и усну с мечтой; и вдруг натыкаюсь на оцепление, объезжать — далеко и грязно, на виду у всех тычу в погоны липовой корочкой и тут же становлюсь апостолом ненавистного режима, и тут же исподтишка мне бросают фундаментальную чёрную метку — подавайте сюда представителя власти; в одном окне — злые глаза, в другом — мольба о помощи... и надежда...»). Узрел ли всё это

Господь? Услышал ли Он, что требуют эти ублюдки? Порождения Адама, как ни крути... В наркотическом бреде — бездарная драматургия: обеспечить отход, прислать переговорщика, освободить братьев, очистить квартал, денег хотят и много; лиц не скрывают — сами лезут косматыми мордами в прямой эфир, а ещё просят позвонить главному. Кому из них? Молчат. И вроде не вполне уверены — в какой стране находятся. Или не представляют вовсе. Я представляю. Поэтому ничего не требую, когда в доме раздаются первые выстрелы: покорно сбрасываю на мокрый снег пальто, пиджак, нащупываю под рубашкой крестик — о нём я не вспоминал последние сорок лет, мысленно кланяюсь Голгофе и поднимаю руки... ненавижда всех и вся и в особенности — упёртого майора. Его квадратное лицо улыбается углами — так мило ухмыляется Сфинкс...

...помнишь о Книге в Книге? Её написал Орхан Памук в поисках «новой жизни». Наверное, нет, не помнишь. Гнев ослепил тебя, и ты перестала слушать. А я всё изрекал и изрекал умные вещи, надеясь, что Памук не добьёт окончательно. Я говорил о том, что одно из звеньев должно быть разорвано. Увы, это был не Памук, беллетристика, и далеко не логика:

«Жизнь — это книга. Если она увлекательна и насыщена событиями — то стремительна, ярка и коротка; читай осторожно, без жадности — не перескакивай главы, не забегай вперёд и, может быть, проживёшь немного дольше, чем отпускают страницы.

Если книга пропитана солью размышлений, сутью вещей, то бесконечная мудрость расцветёт озарением; но не уподобляйся тем, кто читает философию бытия поперёк и норовит заглянуть на последнюю страницу — эти не живут и уходят в потёмках.

И бойся книг-суррогатов — они лежат на бачках унитазов и от них несёт плесенью, ты их читаешь на сон грядущий — лишь бы читать или не читаешь вовсе, но они есть — как украшение, подарок или подставка; не важно, о чём эти книги — они убивают бессмыслицей».

Кажется, ты не услышала. Ты заиклилась в круге, а я заиклился на Памуке — его «Новая жизнь» меня убивала...

...собака остановилась, поджала уши, стряхнула с себя блошиную вакханалию и завалилась на бок в рыхлую снежную кашу, повела носом в сторону пули, поскулила, посмотрела на меня, как на чужого покойника — ни вреда, ни пользы. Я понял миссию: дальше — один; а животное станет свидетелем бестолковой драмы: никто не совершает подвиги ради подвига, никто не погибает во имя жизни, никто не разрывает круг, не надеясь вырваться из круга. Это крестики-нолики — логическая смерть. Не спасение заложников, а просчитанный удар по её самолюбию. Расскажи ей, собака... Вот я иду и смотрю, и не хочу уклоняться. Разве что сердце метнуть в траекторию пули — красиво, да не посмею: рвётся не там, где удобно, рвётся — где тонко. Правило. И мы не раз говорили о нём — на расстоянии... Расскажи

ей, что видишь: испуг затаённый, зло причинённое, добро нерастраченное; и не герой — обычный прохожий... Господи! Знали бы ангелы, как я боюсь — так хотя бы за страх постояли... И пусть на поминках злословят о смыслах — кому-то действительно впору к ответу; и пусть в лице моём видят власть — о, эта беспечная боль удручённых; пусть и подонка оплачут вместе со мной — это пикантно и весьма креативно; пусть даже никто ничего не изменит в секунду... лишь бы она поняла: разорвать круг — это не прихоть, разорвать круг — это дар, ничтожнейшая вероятность, которой нельзя пренебрегать... чмок...

не больно  
смачно  
как поцелуй  
страстно  
аккурат между глаз  
нелепо  
всё...

Недотёпу, с перепуга начавшего палить без разбора по сторонам, объявят профессионалом — «пособником», «организатором», «исполнителем», лица не покажут — оно будет изувечено в клочья; на брифинге опустошённый майор механическим голосом поблагодарит спецслужбы за успешно проведённую операцию, пообещает представить к награде и, конечно, выразит соболезнования. Слава богу, я не увижу воскового сопереживания. Слава богу, моя история закончится задолго до того,

как люди перестанут ненавидеть и террористов, и власть, и дожуют колбасу (надеюсь, я хоть чем-то помог несчастным заложникам). Слава богу, пуля окажется обычной — ни тупой, ни сточенной, ни со смещённым центром тяжести; аккуратный прокол не изуродует череп, и я упаду не позорно — красиво, успев улыбнуться той, для которой разорвался мой круг: сначала на колени, как и представлял, затем на спину, широко раскинув руки и вытолкнув последний глоток неоплаченной жизни. И слава богу, что камера выхватит стекленеющие глаза, и ты прочтёшь в них ошибку и приговор. Помнишь? Ведь именно так мы расстались:

— Навсегда?

— Навсегда.

— Это жость!

— Это правда жизни.

— Я ждала сочувствия.

— Ты ждала жалости.

— Уходи!

— Что ж...

— Не появляйся больше!

Я потерял саму возможность существования в круге твоей любви, а жить надоело быстрее, чем летит пуля. Ошибка, недостойная здравомыслящего человека. Приговор? Да! Но как вкусно и мягко приходит смерть... прямо гурманка...

Угрюмая собака рыкнет, поднимется, нехотя подойдёт, обнюхает покойника с ног до головы, лизнёт лужи-

цу крови и завоет, констатируя смерть. Шикарная картинка для телекамер: послужить стране декорацией — это по-чётно, послужить секунде отсчётом — это судьба.

*22 апреля 2011 года, Иркутск*



Дольче сидит на широком подоконнике вросшего в землю окна и орёт с характерными нотками бессмысленной агрессии: вроде бы дерзко и почти не таясь, но бесперспективно жалостливо и фальшиво, чуть не фальцетом. Полудохлый кактус, единственный уравновешенный обитатель холостяцкой дыры, служит надёжной защитой от внезапного тапочка или от непредсказуемой диванной подушки. В остальном — пожелтевший, полысевший, сморщившийся то ли от переизбытка внимания (каждая проходящая самочка сострадательно устраивает несчастному суккуленту «сезон дождей»), то ли от старости — он бесполезен с точки зрения Дольче. Даже не рудимент — окурок, огрызок, жалкий извращённый стручок. Но считается любимчиком хозяина и кочует с ним из квартиры в квартиру. И появился задолго до начала времён, известных Дольче. И когда Дольче думает об этом, то орёт ещё громче — от обиды.

Вечно нетрезвый хозяин отвечает храпом, причмокиваниями, стонами и не очень внятными писками рас-

пластавшейся под ним самочки. Новая. Пахнет позапрошлым сезоном «Nina Ricci» и валерианистой самбукой, особенно вкусно пахнут волосы, недавно выкрашенные в чёрный цвет. Долго не продержится: пару ночей, не больше — хозяин предпочитает аутентичных брюнеток. Левая нога красивая, гладкая, колено слегка розовое, левая грудь упругая, покусанная, «там» симпатично, аккуратно и рыжее — вроде рыжей лунной дорожки, спящее лицо умиляется пухлыми губками. Ещё бы! Такой марафон! Остального не видно. Жаль. Остальное спрятано под волосатыми руками, смуглой расцарапанной спиной и задом хозяина, белеющим в сумраке, что паруса на дешёвом эстампе — этакий паук с торчащим из пасти комариком. Не задавил бы малышку. Дольче сочувствует приходящим самочкам: во-первых, у хозяина скверная привычка мгновенно засыпать «после того», во-вторых, самому охота — сил нет!

Весна — коты орут. И Дольче орёт: не до конца «хотелку» отрезали. Кастрация, как оказалось, сурово обостряет чувство неполноценности, отчего желание «покурлесить» становится маниакальным. Не всегда, но накачивает. Как сейчас: от стука каблучков за окном, шлёпающих по лужам капель и от забористого аромата самбуки. И ни тапочки, ни подушка, ни «мордой о батарею», ни голодный паёк — ничто не способно заглушить в Дольче одержимость прекрасным. Он — творческий кот, он созерцает, он мыслит, он хочет любви. И лишь дураки да импотенты называют любовь инстинктом, да злые, равнодушные люди. И пусть снаружи флиртуют драные ко-



щечки, зрелые и податливые для тех, кто вырос на улице; пусть дома кувыркаются драные самочки, порой вульгарные, грубые, но всё чаще приятные его тонкому вкусу; пусть хозяин тороплив и жаден в деликатных вопросах, и у него есть всё, чего нет у кота и кактуса... — Дольче не будет истерить почём зря. Если в животе не настолько пусто, чтобы смыслами наполнять желудок, если в голове не настолько мрачно, чтобы казаться себе отвратительным, то желания всегда будут сильнее инстинктов, а течение любви непрерывным и объект любви ожидаемым, и потому не имеющим никакого значения — ни по форме, ни по содержанию. Но как же это бывает мучительно и важно для хозяина! До запоев, до приступов бешенства, до опустошения, сродни нашествию крыс. Дольче и завёлся-то у хозяина от тоски, по дурости, в неурочный час ползучей депрессии.

Родилось их двое: он — Дольче и брат его — Габана, поздно ночью на пуховых перинах в огромной кровати посреди гигантской спальни в исполинском загородном коттедже какого-то модного продюсера суперпопулярных реалити-шоу. Их молодая мама — русская голубая кошечка с родословной на пяти языках — очень сильно удивила хозяев неожиданным потомством. Горничную тут же выдворили, садовника назвали «козлом» и заставили переловить всех котов в округе, но котят, по какой-то счастливой случайности, в унитаз не спустили. И кошку не прибили, когда вспомнили о её стоимости и титулах предков — корнями этак от «дома Романовых». Так и

жили они до поры — на кухне, в состоянии бойкота хозяев и заботы челяди. Дольче был всегда вылизанный, ухоженный, упитанный, его «розовый» пяточок задорно блестел на солнце, а едва заметные на рыжей мордочке усы являли миру лукавую улыбку чеширского кота. Габана — полная противоположность: чёрный, лоснящийся, скользкий, как змея, нелепый, что похоронный прикид колхозника, зловеще косящий на один глаз, и к тому же страшный задира со скверным характером. Он постоянно гнобил Дольче и пакостил на каждом углу, за что получал и от мамы, и от кухарки, и от садовника. Мама не любила Габану. Скорее всего, он напоминал ей подлого ухажёра.

Продолжалось их затворничество недолго: вскоре маму простили и увезли в Париж — так раздражённо общили кому-то по телефону, Дольче достался в виде презента безработному актёру (как бы случайно оказавшемуся на вечеринке хозяев), а Габана переселился в ящик старушки, торговавшей бездомными котятками точно реди-ской. Давно это было, уже и не вспомнить. Выветрилось то неоднозначно счастливое детство, промяукалось, проскреблось, завяло вместе с новым хозяином и его кактусом. Поначалу Дольче протестовал: ссал в тапочки, драл обои, гонялся за мухами, сметая по пути бокалы, рюмки, бутылки, переполненные пепельницы, висел на шторах, в общем, вёл себя так, как полагается любому уважающему себя коту. И был уверен, что хозяину импонирует истинно мужское поведение хищника (пусть и маленького и не вполне настоящего). Но однажды он проснулся с тяжёлой

головой, «без ничего» и с обидной болью в паху. Испугался не на шутку. А когда отошёл от позорного потрясения и смекнул, что у кота ещё много чего лишнего — хвост, например, или торчащие уши, и лап не две, а четыре, то попытался быть смиренным и ласковым. Не помогло: и фаворитом не стал, и себе опротивел. Быть подхалимом — бесперспективно, голодно и унижительно, в конечном счёте, особенно, когда тебя не замечают. Так и жили они: неразговорчивый хозяин с набором страстных междометий и Дольче в образе терпеливого наблюдателя и оратора, умеющего сочетать собственные амбиции с бессмысленностью существования других. Бонус — отличное место за кактусом: сюда хозяин не швырялся чем ни попадя, а самочки, поливая чахлый огрызок, обязательно тискали и Дольче, а иногда и целовали в нос (и если бы он тщательно не слизывал помаду, то очень скоро превратился бы в клоуна с красным набалдашником). Но это почему-то нравилось. А ещё с уютного тёплого подоконника хорошо просматривалась другая жизнь — страшная, некомфортная, холодная, полная стрессов, но манящая: там его беспутный братец чуть ли не каждый день утверждал законное право уличного кота на состоятельность и плодovitость... И форточка никогда не закрывалась.

А хозяину при всём его достоинстве — ничего не светит, ему хуже, чем коту, и хуже чем кактусу (и куда уже хуже-то?). Дольче хотя бы знает, что не умрёт от одиночества — у него есть хозяин; пусть и конченная сволочь, алкаш, но всё же иногда — сентиментальная скотинка, под-

ывающая в подушку. И по утрам неплох, пока туго соображает. А если нет самочек (или попадаются фригидные зануды), коту дозволяется спать на диване в ногах, а то и со стола перепадает что-то неожиданно вкусное. А с чьего стола перепадает хозяину?.. Жалко его. Так и сдохнет одиноким, непонятым, маленьким человечком, у которого нет никого и никогда не будет — и эта «кастрация» похлеще терзаний маленького оскоплённого кота. А приходящие самочки — даже не похоть, они мало чем отличаются от презервативов — наполнил и выкинул; скорее — инициализация жизни. А кот и вовсе тварь поперечная, вольная («податься что ли к брату в напарники...»), а кактус вообще «ни о чём» — суккуленты не кучкуются грядками.

...так думал Дольче, робко мечтая о побеге: каждый день, каждое утро, каждую ночь... Хозяин со свистом всхрапнул — разок, другой, проснулся, тяжело оторвался от подушки, открыл правый глаз и уставился на левую грудь самочки. Почему-то поморщился. Открыл и левый, неуверенно повернул голову на жалобное «мяу» и рассеянно посмотрел на кота. Почти дружелюбно и... Кошачий бог! Как же Дольче любил первые секунды этого похмельного пробуждения! Ради секунд и жил...

— Ну чего ты разорался, Василий? Я же терплю...

*12 июля 2011 года, Красноярск*

# С ★ О ★ Д ★ Е ★ Р ★ Ж ★ А ★ Н ★ И ★ Е

## **Доброе утро, страна...**

*Баллада о картонном офицере*

Game-эволюция: пролог.....	14
А. Сторожевое.....	30
В. Воронеж .....	88
С. Москва.....	134
Game-революция: эпилог.....	170

## **Люди, твари и любовь**

*Рассказы*

Он, Она и Финвалы .....	183
Мечта Таракана.....	185
Джулия и первая жизнь Мелиссы .....	188
Светлячки часовых поясов .....	193
Старик, идущий по лестнице .....	195
Квинт бесконечности .....	207
Позвони мне.....	216
Терция .....	223
Параллели.....	229
За секунду до.....	234
Дольче ищет смыслы.....	247

**Андрей Sh**  
(Андрей Васильевич Швайкин)



## **Доброе утро, страна...**

*Повесть и рассказы*



Редактор *И.И. Куроптева*  
Художник *В.В. Дейкун*  
Вёрстка *Р.С. Мельников*

ISBN 5-7424-018-2

Издатель ООО «ВостСибкнига»  
ИД 05408 от 20.07.2001  
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 31

Сдано в набор 02.03.11. Подписано в печать 15.09.11  
Формат 70х108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman  
Печать офсетная. Усл. печ.л. 11,2. Уч.-изд.л. 12,0  
Тираж 1000 экз. Изд. № 207. Заказ № 148

Отпечатано в ООО «Оперативная типография «На Чехова»  
664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10

